

Ю.С. Воронов, Н.А. Русакова, Н.В. Любезнова

**ФЕНОМЕН РУССКОГО
СУДЕБНОГО КРАСНОРЕЧИЯ
XIX – XX вв.**

Саратов
2016

УДК 808
ББК 83.7

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор А.Л. Фокеев
кандидат юридических наук, доцент С.Е. Тареев

Воронов Ю.С.

Феномен русского судебного красноречия XIX – XX вв. / Ю.С. Воронов, Н.А. Русакова, Н.В. Любезнова. — Саратов: Издательство «Вузовское образование», 2016. — (Высшее образование). — 134 с. — Док. опубл. не был. — Доступ с сайта ЭБС IPRbooks.

Книга содержит портретные характеристики выдающихся юристов России, заложивших в конце XIX – начале XX столетий основы отечественного судебного красноречия. В извлечениях приводятся их речи по гражданским и уголовным делам. Авторы-составители акцентируют внимание, в основном, на социально-политических и риторических компонентах выступлений адвокатов.

В свете положений трудов А.Ф. Кони, П.С. Пороховщикова и современных тенденций затрагиваются теоретические аспекты судебного красноречия. В книге проводится мысль о том, что в условиях новых политических, социально-экономических, правовых и иных реформ в современной России актуализируется задача значительного повышения культуры как документной, так и устной судебной речи.

Издание адресуется молодому поколению юристов, а также всем, кто проявляет интерес к культуре живого слова.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
«Не пигмей, а исполин» — штрихи к портрету Петра Акимовича Александрова.....	13
Глашатай идеи гуманности и человеколюбия Сергей Аркадьевич Андреевский.....	21
Самый деятельный проповедник высоких идеалов русской адвокатуры Константин Константинович Арсеньев	24
Выдающийся судебный оратор и прогрессивный общественный деятель России Николай Платонович Карабчевский	27
Корифей судебного психоанализа Федор Никифорович Плевако.....	30
Энциклопедически образованный юрист и выдающийся судебный оратор Владимир Данилович Спасович	38
Деятель огромного ума и большой природной ораторской силы Александр Иванович Урусов	42
Титан мысли и чародей слова Анатолий Федорович Кони	44
Великолепен в обвинении и незаменим в защите Владимир Иванович Жуковский	48
Крупнейший дореволюционный адвокат Константин Федорович Хартулари.....	51
Редкостная добросовестность и исключительное трудолюбие — штрихи к портрету Николая Иосифовича Холева	53
Выдающийся теоретик судебного красноречия Петр Сергеевич Пороховщиков (П. Сергеич)	55
Судебное красноречие XIX столетия в критических оценках русских писателей.....	60
К заключению.....	66
Хрестоматия	69
Речь П.А. Александрова в защиту Веры Засулич (в извлечении).....	69
Речь С.А. Андреевского в защиту А.Г. Иванова (в извлечении)	79
Речь Н.П. Карабчевского по делу братьев Скитских (в извлечении)	92
Речь Ф.Н. Плевако по делу рабочих Коншинской фабрики (в извлечении).....	102
Речь А.И. Урусова по делу Волоховой (в извлечении)	107
П.С. Пороховщиков (П.Сергеич). Искусство речи на суде (в извлечении)	113
Глава I. О слоге	113
Глава II. Цветы красноречия.....	120
Глава III. Искусство спора на суде	123
Глава IV. Заключительные замечания	124
А.Ф. Кони Советы лекторам	126
Источники и литература.....	132

ВВЕДЕНИЕ

Если бы человечество хорошо помнило все то, что оно
сказало вчера, то сегодня оно было бы гораздо дальше.
Л.Н. Толстой

Судебное публичное говорение относится к древнейшим видам ораторского искусства. Родоначальницей его стала Древняя Греция. Формированию и дальнейшему развитию судебной риторики послужили многие внешние и внутренние факторы: развитие государственности, особенно после греко-персидских войн, усиление влияния демократической группировки, оживление деятельности народных масс во внутренней жизни развитых греческих полисов. Постепенно мастерство публичного выступления приобрело общественную значимость, стало средством к выдвижению, славе, богатству. Политическим деятелям приходилось публично отстаивать свои позиции и интересы. И политическая судьба многих граждан Афин во многом зависела от умения говорить публично. Большой популярностью пользовались уроки ораторского мастерства. Знаменитые ораторы были окружены всеобщим почетом и уважением.

Наиболее распространенным жанром ораторского искусства были судебные речи. Судиться в Афинах было делом нелегким: института прокуроров не было, обвинителем мог выступить каждый и каждый афинянин должен был лично защищать свои интересы в суде. Обвиняемый стремился не только убедить суд в своей невиновности, сколько разжалобить, привлечь судей на свою сторону. Однако не все афиняне обладали даром слова, поэтому обвиняемые вынуждены были просить логографов (составителей судебных речей) написать защитительную речь.

Форма речи и искусство выступавшего играли не меньшую роль, чем содержание. Поэтому каждая судебная речь должна была начинаться вступлением, излагающим суть данного дела, для того чтобы заранее повлиять на судей. Главная цель рассказа — заставить судей поверить в правдивость выступающего. В этой части использовались художественные элементы речи. Далее следовало доказательство. Заканчивалась речь эпилогом, который должен был вызвать сочувствие к обвиняемому и произвести особенно сильное воздействие. В соответствии с этим заключение было патетичным.

Суд в Афинах являлся общественной трибуной, на которой нередко сталкивались различные политические убеждения, и оратору было необходимо обладать знаниями и умением убеждать людей. Это умение Платон называл «искусством гигантов мудрости».

Первыми теоретиками судебного красноречия были Горгий, Лисий, Исократ.

Горгий (около 480-около 380 до н.э.) представлял софистское направление в ораторском искусстве (с греч — искусник, мудрец). Софисты были прекрасными ораторами, они владели законами логики, искусством спора, умели воздействовать на слушателей. Но их ораторское мастерство носило чисто формальный, показной характер. Считая, что понятие и сама истина относительны, софисты понимали цель ораторского искусства не как выяснение исти-

ны, а как убеждение слушателей в чем-либо во что бы то ни стало и выражали мнение, что любое положение можно доказать и опровергнуть.

Горгий обучал юношей из богатых семей практическому красноречию, умению логично мыслить и публично говорить. Слово, считал Горгий, есть великий властелин, так как оно может и страх нагнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить. Но чтобы слово приобрело власть над людьми, над ним нужно постоянно работать. Искусные речи Горгия, игравшие роль политических памфлетов, призывавшие к борьбе против тиранов, привлекали внимание и прославили его имя. Речи Горгия изобиловали метафорами, сравнениями, антитезами, предложениями с одинаковыми окончаниями. Разделение речи на равные части, противопоставленные по смыслу, симметрично построенные фразы с рифмой в конце известны как горгиевы фигуры. Известен был Горгий и как логограф.

Популярным логографом был **Лисий** (около 435-380 до н.э.) — выдающийся судебный оратор, написавший более 200 речей. Основное внимание в своих речах он уделял убедительному изложению обстоятельств дела, образному, живописному повествованию. Перед слушателями представляли яркие картины повседневной жизни афинянина, описания его жилища. Воображение живо рисовало мошенников, не соблюдающих законов, и хлебных спекулянтов, и пенсионера-инвалида, которого по доносу хотят лишить пенсии и других современных ему персонажей. Древние критики справедливо отмечали умение Лисия мастерски создавать портреты, отражать характеры, психологию и стиль своих клиентов. Все речи были четко продуманы от начала и до конца. Считается, что именно он заложил основы композиции судебной речи.

Представителем пышного, торжественного красноречия был ученик Горгия **Исократ** (436-338 до н.э.). Обладая слабым голосом, он сам не выступал публично, а писал тексты судебных речей и обучал молодежь ораторскому искусству. В речи «Против софистов» Исократ доказывал, что нельзя смешивать истинную риторику, философию с ухищрениями софистов. Оратор, считал Исократ, должен обладать талантом, быть образованным человеком и кропотливо работать над составлением речей. Большое значение он придавал отделке языка, выбору слов; советовал избегать резких и трудных сочетаний звуков, резкого и трудных сочетаний звуков, резкого перехода от одного сюжета к другому. Исократ явился создателем «периодической речи». Он впервые стал писать большими периодами, легкими по конструкции. Подобно Лисию большое внимание Исократ уделял композиции ораторского произведения. По его мнению, речь должна была состоять из следующих частей:

- введение, цель которого — привлечь внимание и вызвать благожелательность слушателей;
- убедительное изложение предмета выступления;
- опровержение доводов противника и аргументация своих собственных;
- заключение, подводящее итог всему сказанному.

Знаменитым греческим оратором был **Демосфен** (384-322 до н.э.), который точностью выражения мысли, ее обоснованностью, великолепием и пыш-

ностью слога превзошел всех, кто соперничал с ним в судах. Сам Демосфен говорил, что его ораторские способности — всего лишь некоторый навык. Все его речи отражают его настойчивый характер. Еще в детстве, услышав судебную речь Каллистрата, он был поражен силой слова, которое, как он ясно понял, способно пленять и покорять слушателей. С тех пор он стал усердно упражняться в произнесении речей, став со временем настоящим оратором и видным политическим деятелем своего времени.

Предметом своей деятельности Демосфен избрал защиту интересов эллинов и никогда не менял своих убеждений. Все его речи, например «О венке», «Против Аристогитона», «За освобождение от повинностей», пронизаны мыслью, что все нравственно прекрасное заслуживает уважения.

Особенно хороша речь «О венке» («За Ктесифонта»). Демосфен выступил инициатором усовершенствования городских укреплений и вложил в это немало личных средств. Ктесифонт внес в Совет 500 предложение наградить Демосфена золотым венком, однако, из-за протеста македонской партии награждение было отложено. Когда Александр Македонский одержал победу над Грецией, македонская партия начала процесс против Ктесифонта. По существу же это был процесс против Демосфена, вступившего в состязание с вождем македонской партии Эсхином. Эта речь (являющаяся ответом на выступление Эсхина) превратилась в памятник, уникальный по историческому и биографическому значению. В то же время это шедевр отточенной аттической прозы и красноречивое свидетельство эллинского стремления к политической независимости.

Своеобразна композиция этой речи: оратор начинает и заканчивает ее обращение к богам. Главной частью является изложение существа дела, ясное по форме, полное динамики и экспрессии. Здесь рассуждение перемежается с повествованием. В речи большое количество изобразительных приемов: великолепная градация, метафоры, «вопрошания», риторические вопросы. Манера произнесения речей была очень бурной, оратор всегда стремился к максимальной внешней выразительности. Эратосфен утверждал, что во время произнесения речи Демосфена охватывало какое-то вакхическое неистовство. Особое значение придавал он интонационно-выразительным средствам. В результате упорного труда Демосфен овладел всеми лучшими качествами, которые были у других ораторов, хотя и все греческие ораторы мастерски владели правилами устной речи, законами логики, особенно рассуждений.

В Древнем Риме расцвет судебного красноречия совпадает с последним периодом Республики и кончается вместе с нею. Его развитию во многом содействовали блестящие образы греческого ораторского искусства.

Противостояние рабов и рабовладельцев, патрициев и плебеев наложило яркий отпечаток на римское ораторское искусство. Форум, где мог выступить каждый свободный гражданин Рима, постоянно слышал процессы по обвинению в вымогательстве, насилии, пристрастии и изменах.

Крупным римским оратором и автором трудов по юриспруденции был **Марк Катон Старший** (234-149 до н.э.). Историк и агроном, полководец и государственный деятель, он был родоначальником латинского красноречия, и главное в его речах — их большой внутренний смысл. Когда Катон выступал

обвинителем в суде, он всегда исходил из существа дела, ясно и логично излагал мысли, давал объективные оценки явлениям. Любой его противник оказывался побежденным. Говорил Катон с особым подъемом, целеустремленно, с жестикующей, что считалось главным достоинством оратора. Основные качества его речей — это точность, краткость и стилистическое изящество. «Цветы красноречия» использовались для того, чтобы глубже проникнуть в суть вопроса, например, повторы употреблялись для усиления мысли, которая должна проникнуть в сознание слушателей.

Цицерон высоко ценил Катона как оратора: «Все можно сказать и благозвучнее, и с большим изяществом, но с большей силой и звучностью не может быть сказано ничто». Плутарх также отмечал, что Катон умел говорить метко и остроумно.

Славу выдающегося судебного оратора приобрел **Гальба**, который обладал юридическим мышлением, умел собирать и располагать в речи доказательства. Ораторское мастерство Гальбы в полной мере соответствовало требованиям Цицерона к оратору, который должен уметь убеждать точными доводами, волновать души слушателей внушительной и действенной речью, воодушевлять судью. Нередко Гальба произносил защитительные речи столь яркие, что заканчивались они под шум рукоплесканий.

В середине II века до н.э. значение судебного красноречия в Древнем Риме возрастает; теория судебной речи разрабатывается на базе греческого наследия. Судебная речь делилась обыкновенно на пять частей:

- вступление;
- изложение обстоятельств дела;
- приведение доводов в пользу своей точки зрения;
- опровержение доводов противника;
- заключение.

Начало речи должно было привлечь внимание судей и настроить их благосклонно, поэтому его необходимо было тщательно отделать, однако, оно должно было быть скромным по форме. Для аргументации существовал целый ряд правил. Все самые действенные приемы оратор оставлял на заключительную часть. Для каждой композиционной части существовали соответствующие украшения речи. Так, обращение во вступлении речи можно было употреблять только в исключительных случаях. Римские риторические школы старались привить ученикам навыки судебного ораторского искусства, учили подбирать аргументы, применять так называемые общие места, учили пользоваться украшениями. Риторы прекрасно владели правилами публичной речи, знали и учитывали законы логики, умели внушать свои мысли огромной аудитории.

Знаменитым судебным оратором этого периода был **Гай Папирий Карбон** (умер в 82 до н.э.), который блестяще показал себя во многих процессах по уголовным и гражданским делам. Цицерон называл его в числе великих и самых красноречивых ораторов.

В те же годы был еще один знаменитый адвокат — **Гай Скрибоний Курион**. Цицерон назвал его оратором поистине блистательным, а речь Куриона в защиту Сервия Фульвия о кровосмешении — образцом красноречия.

Судебные речи **Марка Антония** (143-87 до н.э.) имели политический оттенок. Главным оружием в его защите был пафос. Антоний обладал способностью мгновенно оценить обстановку и, наделенный даром импровизации, прибегнуть то к вкрадчивости, то к мольбе, то к сдержанности, то к возбуждению ненависти.

Решительно недостижимым, по характеристике Цицерона, судебным оратором был **Красс**. Речи его отличались тщательной подготовленностью. Это касалось прежде всего юридической обоснованности, а также стилистического изящества. Цицерон называл его «лучшим правоведом среди ораторов».

Последним ярким представителем доцицероновского периода римского судебного красноречия был **Квинт Гортензий Гортал**. Речь Гортензия, всегда отработанная, изящная и доступная, покоряла речь слушателей благородством мыслей, точным и уместным выбором слов и конструкций. Ясность речей достигалась тем, что оратор умело выделял главные пункты, анализировал и оспаривал доводы противной стороны и в конце представлял новые, бесспорные аргументы. Гортензий ввел два приема, каких не было ни у кого другого: разделение, где перечислял, о чем будет говорить, и заключение, в котором напоминал все доводы противника и свои.

Голос Гортензия отличался приятностью и ровностью, манеры — достоинством, жесты — одушевлением. Каждое его появление в суде вызывало восторг слушателей.

Все лучшее, чего достигло древнее римское ораторское искусство, сконцентрировано в ораторском мастерстве **Марка Туллия Цицерона** (106-44 до н.э.) Одаренный от природы, он получил прекрасное образование: изучал римское право у знаменитого юриста Сцеволы, учился диалектике — искусству спора и аргументации, знакомился с греческой философией, изучал ораторское искусство греческих мастеров слова, учился ему у Красса и Антония.

Но на первый план Цицерон выдвигал труд. Он много работал над голосом, чтобы устранить его природную слабость и придать ему приятное звучание и силу. Всегда тщательно готовился к произнесению речей, постоянно совершенствовал свое ораторское мастерство. Наиболее полезным для оратора Цицерон считал этику и логику, философию, историю и литературу, так как знание логики помогает логически правильно построить речь, знание этики — выбрать тот прием, который вызовет нужную реакцию у слушателей. Философия, история и литература делают интересным то, что уже известно.

К наиболее важным условиям успеха Цицерон относил убежденность самого оратора и стремление убедить суд, а к решающему фактору в выступлении оратора — знание. Если говорящий плохо знает дело, то никогда не сможет убедить слушателей, каким бы искусством он ни обладал; знание же «дает содержание красноречию». Расположению материала Цицерон придавал большое значение. Он разрабатывал композицию судебной речи, которая обеспечивала максимально легкое усвоение материала.

Речь по Цицерону должна состоять из шести частей:

- 1 часть — вступление, которое должно вызвать симпатии к оратору, сосредоточить внимание слушателей, подготовить их к тому решению, которое предложит оратор;

- 2 часть — план выступления, в котором ясно указываются основные положения защиты и выдвигается тезис;

- 3 часть — рассказ о том, как произошло преступление.

Самой главной частью речи Цицерон считал 4-ю — доказательства. Для них оратор привлекал, факты двоякого рода: одни должны действовать на ум слушателей; другие — воздействовать на чувства, что особенно важно в конце речи.

Затем шла 5-я часть — повторение решающих доводов, чтобы они лучше запечатлелись в сознании суда. И заканчивалась речь подведением итогов.

Главная сила речей Цицерона — в их содержательности, умении подбирать веские доказательства, в логичном расположении материала. Он постепенно и целенаправленно разбивал все нападки противников, старался не столько победить, сколько убедить.

Глубокому содержанию речей Цицерона соответствовала яркая форма. Все изобразительные средства были использованы и «разбросаны по речи с умом», особенно сильны были его патетические заключения с риторическими вопросами. Цицерон писал: «Чтобы зажигать сердца, речь должна пылать». И все его судебные речи, сильные по аргументации, удивительные по форме, очаровывали и подчиняли себе слушателей: он умел возбудить в них чувство сострадания к подсудимому, умел остроумным замечанием ввести противника в замешательство, заставить судью улыбнуться. Квинтилиан так оценил ораторское мастерство Цицерона: «Небо послало на землю Цицерона, по-видимому, для того, чтобы дать нам пример, до каких границ может идти могущество слова... С полной справедливостью современники провозгласили его царем адвокатуры». Влияние Цицерона было чрезвычайно велико уже в античности. Он неизменно занимал важнейшее место в том историческом наследии, которое античность оставила римлянам. Один из древнеримских теоретиков и историков ораторского искусства писал, что небо послало на землю Цицерона для того, чтобы дать в нем пример, до каких пределов может дойти могущество слова.

В IV-V веках искусство судебной речи активно развивается в Древней Грузии и Армении. Оратор IV века, видный деятель знаменитой Колхидской риторической школы **Фартадзе** считал, что судебная речь должна быть строго аргументирована юридически. Древнеармянский философ VI века **Давид Анахт** среди жанров ораторского искусства особо выделял судебное красноречие.

В XII-XIV веках искусство публичного спора в Грузии и Армении достигло высокого уровня. В XIV веке успешно развивается судебное красноречие в Италии. А в XV веке красноречие в сфере правовых отношений развивалось в государствах Средней Азии.

Средние века, с их феодальным строем, господством церкви, с отстранением народа от общественных дел, не могли содействовать развитию красноречия: дела в судах решались формально, и слово не имело большого значения.

Яркие страницы в историю мирового судебного ораторского искусства вписали французские судебные ораторы. Если в XI-XV вв. Речи адвокатов постепенно приобретают светский характер. Растет авторитет римского права. Появляются сочинения, посвященные теории судебного красноречия, например «Диалог об ораторах» **Луазеля**. Авторы теоретических работ требуют от судебного оратора прежде всего глубокого знания дела. В XVII веке были известны такие мастера судебного слова, как **Леместр, Патрю, де Саси, Жербье, Кошен, де Молеонь**. Но большого расцвета судебное ораторское искусство достигло здесь в XIX веке, его представляли настоящие мастера судебной речи: **Жюль Фавр, Лашо, Беррье, братья Дюпен, Лабори, Кремье, Морнар и др.** Их речи отличает ясность изложения, изящество формы. Речи легко читаются и воспринимаются, так как мысли в них выражены точно, доказательства приведены последовательно. В них нет противоречий, длинных и тяжелых фраз.

В России ораторское искусство своими истоками уходит в глубокую древность. Через многие века до нас дошли фрагменты военно-политических речей Святослава, Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого и многих, многих других известных деятелей. Красноречивыми были проповеди ряда выдающихся духовных деятелей. С XVIII столетия, со времен М.В. Ломоносова, развивается красноречие академическое.

В XIX столетии, особенно в его второй половине получает расцвет политическое и судебное красноречие. Интенсивное развитие последнего обуславливалось многими факторами социально-экономического, политического характера, а также прогрессом в области научной мысли и бурным расцветом русской литературы и всех видов искусства.

Важнейшее событие — судебная реформа 1864 года. Она ввела в России основы буржуазного судопроизводства. Были учреждены суд присяжных, выборный мировой суд, адвокатура, хотя эти реформаторские преобразования несли на себе печать различных ограничений.

Гласное судопроизводство, зарождение института адвокатов создавали благоприятные условия для расцвета могучего таланта таких судебных деятелей, как П.А. Александров, С.А. Андреевский, К.К. Арсеньев, В.И. Жуковский, Н.П. Карабчевский, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.И. Урусов, К. Ф. Халтулари, Н.И. Холев, П.С.Пороховщиков, А.Ф. Кони.

Все они были людьми не только высокого специального образования, но и образования общего, людьми высокой культуры, высокой нравственности.

Характерной особенностью русского судебного красноречия этого времени были высокие нравственные требования, предъявляемые к судебным ораторам. Эти требования приобрели определенную систему, которая включала в себя ряд следующих правил:

- Прямота и правдивость, особая честность ума и сердца, неспособность на ложь и хитрость;
- Скромность оратора в суде, то есть недопустимость самовозвеличивания; стремление думать о деле, но не о себе;
- Благоразумие оратора: в речи должна иметь место рассудительность и здравый смысл;

– Тактичность, предельная осторожность и чувство меры.

Особенности русского судебного красноречия той поры обуславливались и самим характером специфической деятельности, теми конкретными обстоятельствами, в которых оказывались во время судебного процесса обе стороны: и обвинение, и защита. Во время допроса обвиняемых и свидетелей, а также заявлений и выступлений адвокатов постоянно возникали новые ситуации, обнаруживались новые материалы и факты. Все это ставило судебных ораторов перед необходимостью отказа от чтения заранее написанных речей. Выступавшие должны были все время иметь дело с живой устной речью, а это побуждало осваивать и развивать речевую культуру, уметь в совершенстве владеть языком, быть красноречивым, находчивым и убедительным.

Специфика судебного красноречия второй половины XIX в. определялась также тем, что в стране один за другим проходили политические процессы. Речи на судах произносились не только адвокатами, обвинителями, председателями судов. С защитительными, а порой обвинительными речами выступали и сами обвиняемые. Такое положение было характерно для процессов, где проходили дела представителей освободительного движения.

Речь Петра Алексеева — одна из характерных. Многие из подобных речей значительно превосходили выступления судебных и по содержанию, и по психориторическому мастерству.

Со времени эпохи А.Ф. Кони и П.А. Александрова, других виднейших русских юристов минуло немало времени. Думается, однако, что характер их деятельности, его гуманистическая направленность, их изумительное мастерство, основанное на высокой общей и профессиональной культуре, продолжает и сегодня вызывать самый живой интерес.

К сожалению, история русского судебного красноречия характеризуется не только творческим взлетом, великолепными достижениями юридической мысли, но и чудовищным падением правопорядка в 20-30-х годах XX века, во времена сталинского судопроизводства. Тогда, как пишет профессор В.А. Ковалев, «судьбы людей ломались опричниками от юстиции, словно ветви дерева — через колено»¹.

Инсценированные процессы, несоблюдение юридических норм, искажение общечеловеческих ценностей, которые интерпретировались как «классово враждебные», стали реалиями того времени. Идея правового государства объявлялась «буржуазной выдумкой». На политических процессах беззастенчиво приклеивались убийственные ярлыки, не имеющие ничего общего с действительностью. Справедливый итог проходящим актам осуждения был подведен лишь в наши дни, когда приговоры суда были пересмотрены с правовой и нравственной точки зрения в полном объеме. В наше время реабилитированы многие крупнейшие деятели того времени, несправедливо осужденные в роковые для страны годы — от патриарха Тихона до маршала Тухачевского и других военачальников, обвиненных в контрреволюционном заговоре.

¹ Ковалев А. В. Распятие духа. Судебные процессы сталинской эпохи. — М.: НОРМА, 1997.

В 90-х годах XX века вновь вспомнили афоризм «слово — закон», заговорили о законах чести, учтивости, справедливости. По-новому зазвучали замечательные слова Л.Н. Толстого, написанные в романе «Анна Каренина»: «Есть нравственные законы приличия, которые нельзя преступать безнаказанно».

Современная судебная речь, несмотря на проявленные тенденции к возврату утраченных ценностей, все же во многом видоизменилась. Она стала значительно меньше по объему. Для нее в большей степени характерны формы логического развертывания системы доводов и в меньшей степени — употребление средств эмоционального воздействия. Современные юристы отмечают, что в судебных процессах сегодня редко произносятся пышные фразы и длинные цитаты из художественных произведений. Обвинительная речь, как правило, более конкретна, а характеристика личности подсудимого дается без глубокого психологического анализа.

По мнению авторов-составителей наиболее яркие страницы теории и практики судебного красноречия в России написаны в XIX – н. XX вв. Именно этот период подробно освещается в предлагаемой книге.

«НЕ ПИГМЕЙ, А ИСПОЛИН» — ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПЕТРА АКИМОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА

Защита Веры Засулич сделала адвоката
Александрова всемирно знаменитым. Речь его
переводилась на иностранные языки, ею отмечен
момент «исторический». Одною этой речью
П.А. Александров обеспечил себе бессмертие...
Ни один из слышанных мною судебных ораторов
не производил на меня более сильного впечатления.
Н.П. Карабчевский

Петр Акимович Александров (1838-1893 гг.) — один из ярчайших представителей русского дореволюционного судебного красноречия. По словам его современников, «судьба заготовила ему блестящую карьеру на чиновничьем поприще правовых учреждений, и лишь нежелание его подчинять свою волю неукоснительным велениям других помешало его триумфальному восхождению по служебной лестнице».

П.А. Александров родился в Орловской губернии в семье мелкого священнослужителя. Незаметный пост отца не давал достаточных материальных средств к нормальному существованию семьи. Семья Александрова часто терпела невзгоды и лишения. Все это, а также наблюдения Петра Акимовича за окружающей его жизнью наложили отпечаток на склад его ума и образ мыслей. Л.Д. Ляховецкий вспоминал, что Александров «...сам любил говорить о неприглядных условиях своей прошлой жизни, наводившей его на размышления печального свойства. Невесела была жизнь его родителей, много терпевших от произвола сильных! В детские годы мальчик был свидетелем поругания человеческого достоинства его отца, покорно сносившего все оскорбления, сыпавшиеся на его голову. Впечатления эти глубоко запали в душу ребенка». Впечатления эти, однако, не только запали в его душу, но и сохранились на всю его жизнь. Самостоятельность суждений и взглядов, непреклонность характера, твердость в убеждениях, воспитанные суровой жизнью и помешавшие его последовательному восхождению на служебном поприще, сослужили ему хорошую службу в качестве присяжного поверенного в рядах русских адвокатов.

Юридический факультет Петербургского университета П.А. Александров окончил в 1860 году, после чего он в течение 15 лет занимал различные должности по Министерству юстиции: товарищ прокурора Петербургского окружного суда, прокурор Псковского окружного суда, товарищ прокурора Петербургской судебной палаты и, наконец, товарищ оберпрокурора кассационного департамента Правительствующего Сената. В 1876 году Александров, после служебного конфликта, вызванного неодобрением начальства его заключением в суде по одному из дел, где он выступил в защиту свободы печати, вышел в отставку и в этом же году поступил в адвокатуру.

Как защитник Александров обратил на себя внимание выступлением в известном политическом процессе «193-х». Дело слушалось в 1877-78 гг. в Пе-

тербургском окружном суде при закрытых дверях. В качестве защитников в процессе принимали участие лучшие силы Петербургской адвокатуры.

Отвечая на бестактную выходку обвинителя Желеховского, заявившего, что почти сто оправданных по этому делу обвиняемых были привлечены им для «составления фона» остальным подсудимым, Александров в своей речи «пригрозил Желеховскому потомством, которое прильет его имя к позорному столбу гвоздем... и гвоздем острым!»

До этого малоизвестный как адвокат Александров привлек внимание общественности продуманной речью и умелой убедительной полемикой с прокурором.

Оценивая его речь на процессе «193-х», один из участников процесса писал:

«Заключительные слова его образцовой речи среди дружного и согласованного хора голосов превосходной защиты прозвучали все же самыми чистыми и высокими нотами. Кто слышал эту речь, тот никогда ее не забудет».

Вскоре, вслед за этим делом, в Петербургском окружном суде слушалось дело по обвинению Веры Засулич в покушении на убийство Петербургского градоначальника Трепова. Речь, произнесенная Александровым в защиту Веры Засулич, принесла ему широкую известность не только в России, но и за рубежом.

«Подсудимая, — вспоминает Л.Д. Ляховецкий о выступлении Александрова по делу Веры Засулич, — избрала себе в защитники П.А. Александрова. Дивились тогда немало неудачному выбору. Петербургская адвокатура имела столько представителей с прославленными талантами, а для трудного дела избран был безвестный адвокат, бывший чиновник, расставшийся со службой.

Шепот изумления раздался в судебной зале, когда в день разбора дел к скамье защитника приблизилась фигура Александрова. «Неужели-таки он?...»

П.А. Александров казался пигмеем, взявшимся за работу гиганта. Он погибнет, он оскандалится и погубит дело. Так думали и говорили многие, почти все. Вопреки ожиданиям, речь его сразу раскрыла колоссальный, могучий, боевой талант. Безвестный защитник из чиновников вышел из суда знаменитым, с печатью славы. Речь его, воспроизведенная на следующий день в газетах, сделала его имя известным всей читающей России. Талант получил всеобщее признание. Вчерашний пигмей превратился вдруг в великана. Одна речь создала этому человеку громкую репутацию, возвысила его, обнаружив всю мощь его дарования».

Однако было бы неправильным думать, что речь эта принесла П.А. Александрову славу вследствие ее внешних эффектов. Напротив, она отличается умеренностью тонов и отсутствием излишних красок. В этой речи П.А. Александров блестяще показал, что не заранее обдуманное намерение Засулич является движущим мотивом совершенного преступления, а вся совокупность незаконных и неправомерных действий генерала Трепова — градоначальника Петербурга — является истинной причиной содеянного. С большой силой показал Александров в речи по делу Веры Засулич, что в действительности не она должна занимать скамью подсудимых, а, наоборот, тот, кто в процессе занял

сочувственную роль потерпевшего, фактически должен проходить по делу в качестве обвиняемого. Речь П.А. Александрова по данному делу, несомненно, в значительной степени подготовила оправдательный вердикт присяжных. В высоких же чиновничьих и правительственных кругах она была воспринята исключительным неодобрением. Это, тем не менее, не могло поколебать Александра как мужественного и стойкого в своих убеждениях судебного оратора.

Дело Засулич имело политический подтекст, хотя состав преступления рассматривался царским судом как уголовный. Засулич обвинялась в покушении на убийство Петербургского градоначальника генерал-адъютанта Трепова, совершенного 24 января 1878 г. выстрелом из пистолета. Покушение квалифицировалось обвинением как умышленное, с заранее обдуманном намерением. Подлинным мотивом действий Засулич было возмущение незаконным административным распоряжением генерала Трепова, повелевшего высечь розгами содержавшегося в доме предварительного заключения политического подследственного Боголюбова.

П.А. Александров избрал тактику изложения материала с учетом трех обстоятельств: политической окраски материала дела, состава присяжных заседателей и давления на суд органов царской юстиции, стремившейся не допустить, чтобы в ходе судебного процесса давалась оценка действиям Трепова.

П.А. Александров произнес защитительную речь, в которой как оратор предстал в «образе» спокойного исследователя фактов. В самом начале речи он говорит о согласии с прокурором: «...Со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен: мы расходимся лишь в весьма немногом...» Александров даже не пытается опровергать всем очевидный факт: «Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы? Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том....». И далее П. Александров, как и подобает спокойному исследователю, берется за установление причинно-следственных связей между фактами: «...Дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связывается, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведенного Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения».

Выявление причинно-следственной связи между двумя фактами — наказанием Боголюбова и покушением на Трепова — основание, почва, на которой выстраивает аргументацию П. Александров. Он так и говорит: «...Нужно прежде всего исследовать почву, которая обусловила связь между 13 июля и 24 января».

В речи П. Александрова мы находим два типа аргументации. В одних случаях доказательства защитника основываются на фактах. Они признаются или опровергаются, подчеркиваются или ставятся под сомнение. «Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление?... — признает защитник. «Ею (Засулич) не было предпринято ничего для того, чтобы выстрел имел

неизбежным следствием смерть. О более опасном направлении выстрела она не заботилась, — подчеркивает защитник. Далее, основываясь на фактах, П. Александров опровергает версию об умышленном убийстве: «...Находясь на том расстоянии от генерал-адъютанта Трепова, на каком она находилась, она действительно могла бы выстрелить совершенно в упор... Вынув из кармана револьвер, она направила его так, как пришлось: не выбирая, не рассчитывая, не поднимая даже руки».

Доводам прокурора, что Засулич имела намерение «причинить смерть», П. Александров противопоставил доводы, что «смерть только допускалась, а не была исключительным стремлением Засулич». Защитник приводит фактические доказательства: «Я должен остановиться на прочтенном здесь показании генерал-адъютанта Трепова. В этом показании сказано, что после первого выстрела Засулич, как заметил генерал Трепов, хотела произвести второй выстрел... Все свидетели, хотя также были взволнованы происшествием, но не до такой степени, как генерал-адъютант Трепов, показали, что Засулич совершенно добровольно, без всякой борьбы, бросила сама револьвер и не обнаружила намерения продолжать выстрелы».

Но почве фактов П. Александров дает сугубо юридическое объяснение действиям обвиняемой и приходит логическим путем к выводу: «Намерение было: или причинить смерть, или нанести рану; не последовало смерти, но нанесена рана. Нет основания в этой нанесенной ране видеть осуществление намерения причинить смерть, приравнивая это нанесение раны к покушению на убийство, а вполне было бы справедливо считать не более как действительным нанесение раны и осуществлением намерения нанести такую рану».

Способ аргументации, когда в речи превалируют фактические доказательства, вполне соответствует образу поведения спокойного исследователя, в котором предстал П. Александров. Вопрос в том, как воспримут его логику присяжные. Доказать-то защитник доказал, но убедил ли присяжных.

Судя по мнению А. Кони, защитник изучил психологию и характер присяжных данной сессии суда. Он отвел из состава заседателей всех купцов, кроме одного, но оставил мелких и средних чиновников. Именно такой состав представлялся П. Александрову наиболее подходящим, чтобы перед ним развернуть свой основной тезис: «...Это преступление явилось как последствие случая 13 июля, как протест против поругания над человеческим достоинством... Засулич решила искать суда над ее собственным преступлением, чтобы поднять и вызвать обсуждение забытого случая о наказании Боголюбова».

Для подтверждения тезиса П. Александров выдвигает на первый план «возмутительность и незаконность» сечения Боголюбова розгами. Избегая открытого осуждения действий Трепова, — это было запрещено властями, — защитник нарисовал картину наказания, примененного к Боголюбову по велению Трепова: «Перед окнами женских арестантских камер, ввиду испуганных чем-то необычайно происходящим в тюрьме женщин, вяжутся пуки розг, как будто драть предстояло целую роту... По отрывочным рассказам, по догадкам, по намекам нетрудно было вообразить и настоящую картину экзекуции. Представала эта бледная, испуганная фигура Боголюбова, не ведающая, что он сделал,

что с ним хотят творить... Вот он, приведенный на место экзекуции и пораженный известием о том позоре, который ему готовится... Вот он, падающий под массой пудов человеческих тел, насевших ему на плечи, распростертый на полу, позорно обнаженный несколькими парами рук, как железом, прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться, и над всей этой картиной мерный свист березовых прутьев. Все замерло в тревожном ожидании стога; этот стон раздался — то не был стон физической боли... То был мучительный стон удушенного, униженного, поруганного, раздавленного человека».

Осуждая произвол, защитник обращается к человеческим чувствам присяжных, хотя у него были и чисто юридические доводы: Боголюбов, будучи осужденным на каторжные работы, еще не поступил в разряд ссыльнокаторжных, над ним не было еще исполнено все то, что по букве закона низводит до положения лишенного всех прав. П. Александров предпочел сделать акцент на жуткой картине наказания.

Изложение строилось таким образом, чтобы заставить задуматься над происшедшим не только с юридической формальной точки зрения, но и человеческой, которая не позволяла примириться с неразумностью и несправедливостью произведенного над Боголюбовым наказания: «Неужели к тяжелому приговору, постигшему Боголюбова, можно было прибавлять еще более тяжелое презрение к его человеческой личности, забвение в нем всего прошлого, всего, что дали ему воспитание и развитие?»

П. Александров, оставаясь в роли объективного исследователя, умело использует психологические доводы. Делая отступления в речи, он поднимается до глубоких обобщений, которые оказывали даже больше внимание, чем фактические доказательства материала дела. Председательствовавший на суде по делу Засулич А. Кони отмечал: «самое сильное место речи Александра — «экскурсия в область розг» — было построено очень искусно, начинаясь очерком благодетелей государя, избавившего Русь от постыдного свиста плетей и шороха розг и тем поднявшего дух своего народа». Отмена телесных наказаний передана П. Александровым высоким стилем, оттененным иронией: «Мы еще помним то полное господство розг, которое существовало до 17 апреля 1863 года. Розга парила везде: в школе, на мирском сходе, она была непременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении... Она составляла какой-то легкий мелодический перезвон в общем громогласном гуле плети, кнута и шпицрутен».

«Экскурсия в область розг» психологически тонко увязана с описанием чувств и мыслей, пробужденных в Засулич газетными известиями о наказании Боголюбова розгами:

«Какое, — думала Засулич, — мучительное истязание, какое презрительное поругание над всем, что составляет самое существенное достояние развитого человека, и не только развитого, но и всякого, кому не чуждо чувство чести и человеческого достоинства... С чувством глубокого, непримиримого оскорбления за нравственное достоинство человека отнеслась Засулич к известию о позорном наказании Боголюбова».

Оратор концентрирует внимание на движениях души Засулич. Далее мы видим, как зреет мотив ее действий: «Кто же вступится за поруганную честь беспомощного каторжника?.. Кто и как изгладит в его сердце воспоминание о позоре, о поруганном достоинстве?.. Наконец, где же гарантия против повторения подобного случая?.. Когда же я совершу преступление, — думала Засулич, — тогда замолкнувший вопрос о наказании Боголюбова восстанет; мое преступление вызовет гласный процесс...»

Используя изобразительно-выразительные формы речи, П. Александров создал эмоциональную «атмосферу сочувствия» вокруг обвиняемой и уж затем сделал вывод о мотивах ее действий: «Не жизнь, не физические страдания генерал-адъютанта Трепова нужны были для Засулич, а появление ее самой на скамье подсудимых, вместе с нею появление вопроса о случае с Боголюбовым».

Вся драматургия речи П. Александрова в основном выдержана в тоне объективного исследователя фактов, но связи между фактами устанавливались таким образом, что вызвали желательные для оратора ассоциации. «В речи Александрова, — отмечал П.С. Пороховщиков, — нет резких выражений. Защитник говорит: распоряжение, происшествие, наказание, действие; но, просмотрев эту речь, вы чувствуете, что присяжные, слушая эти бесцветные слова, мысленно повторяли: произвол, надругательство, истязание...»

Тактика П. Александрова заключалась в том, чтобы факт покушения отеснить на задний план мотивом покушения. Эта тактика принесла успех. Присяжные по делу Засулич вынесли вердикт: не виновна.

С наименьшей силой проявился ораторский талант Петра Акимовича Александрова в его выступлении по делу Сарры Модебадзе.

Осуществляя защиту четырех совершенно невиновных людей, понимая тот большой общественный резонанс, какой имел этот процесс, и свою роль в этом деле, он защитительной речи придал большое общественное звучание. Он правильно оценил социальные корни и питательную среду этого грязного, позорного дела, смело поднял голос в защиту невиновных, принесенных в жертву реакционным идеям, преследующим цель разжигания национальной розни.

П.А. Александров изучил материал, относящийся к рассматриваемому делу, показал тонкое знание специальных вопросов, разбираемых на суде, успешно опровергал выводы экспертизы, на которых основывалось обвинение.

Александров понимал, что к его голосу прислушиваются широкие передовые слои России. Он смело вскрывал ту атмосферу, в которой создавалось это дело. В начале своей речи Александров говорит, что настоящий процесс «...желает знать вся Россия о нем будет судить русское общественное мнение». Александров подчеркивает, что речь предназначена не только для суда, но и для тех, «кто наглою клеветой осквернит приговор, если он будет против их грязных вождений, для тех, кто захочет искать в нем технических мотивов, на уровень которых он сам никогда не поднимался, для тех, кто пожелает без предвзятого взгляда узнать истину настоящего дела, для тех, кто пожелает в нем оснований для критики старого предубеждения, — предубеждения суеверного и питающего племенную рознь».

В этом процессе Александров выступил как оратор, снискавший себе большой и заслуженный авторитет, как защитник, которого глубоко интересовали и волновали социальные корни этого дела. В этой глубоко содержательной речи его интересовали не только улики, но и та общественная атмосфера, которая породила тяжкое обвинение и незаслуженное преследование неповинных людей.

Проанализировав состав преступления, тщательно разобрав представленные обвинителем улики, он умело показал необоснованность доводов прокурора.

Закончив обстоятельный разбор доказательств, он, стремясь еще раз подчеркнуть общественное значение этого процесса, тщательно отработав свой основной вывод, сказал по поводу разбираемого дела: «Оно напечалит русским людям о справедливости, которая только и нужна, чтобы такие печальные дела не повторялись. Скажет настоящее дело свое поучительное слово и нашим общественным деятелям, держащим в своей власти нашу честь и свободу. Оно скажет русским преследователям, что не увлекаться им следует народным суевением, а господствовать над ним, оно скажет русским прокурорам, что дороги и любезны они обществу не только как охранители общества от преступных посягательств, но и в особенности как охранители его от неосновательных подозрений и ложных обвинений».

Убедительную речь в защиту слова и печати произнес Александров по делу Нотовича. И в этой речи проявил он свой ум, блестящее ораторское дарование.

«Чтобы понять и оценить речь Александрова, писал известный дореволюционный публицист Г. Джаншиев, недостаточно было хватать на лету блестящие громкие фразы, нужно еще было ее слушать сосредоточенно, со вниманием и дослушать до конца. При первом дебюте П.А. Александрова в Москве в начале речи его вызвала разочарование. Так это Александров? – говорили разочарованные слушатели, привыкшие с самого начала слышать набор витиеватых метафор и шумиху блестящих мишурных красноречий. Но чем дальше подвигалась вперед аргументация, чем глубже шел анализ изложенных в строго систематическом порядке мельчайших подробностей дела, тем более глубоко завладевал оратор вниманием аудитории. И когда закончилась речь, публика выражала сожаление о том, что там скоро закончилась она, стараясь запомнить те меткие характеристики, едкие «экскурсии» (такова была «экскурсия» в область розги по делу Засулич) в область общественных вопросов, которыми всегда была полна строго логическая, остроумная, деловая речь, полная изредка добродушного юмора, чаще – того уничижающего сарказма и кусающейся иронии, которая, по выражению Герцена, «более бесит, нежели смешит».

Про сарказм Александрова говорили, что он, как разрывная пуля, убивает наповал. Такою сокрушительною силою своего слова Александров обязан был превосходному знанию дела, которое, по определению одного оратора, «лучшее из красноречий».

Наиболее характерным для судебного ораторского мастерства П.А. Александрова является твердая логика и последовательность его суждений, умение

тщательно взвешивать и определять место любого доказательства по делу, а также убедительно аргументировать и обосновывать свои важнейшие доводы. Не обладая способностью создавать яркие образы, он, однако, всегда стремился к упрощению речи, прилагал много усилий к тому, чтобы сделать ее доступной и понятной. Этим объясняется то, что его речи, как правило, отличаются правильностью грамматической отделки, легкостью стиля, чистотой и ясностью языка. Главное же в его деятельности как адвоката — сила убеждения, которая в сочетании с его ораторским талантом, обеспечивала ему успех по многим сложным уголовным делам.

ГЛАШАТАЙ ИДЕИ ГУМАННОСТИ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ АНДРЕЕВСКИЙ

Я уважаю Ваши книжки и Ваше авторское чувство
...О Ваших речах нужно писать много или ничего. А много
я не умею. Для меня речи таких юристов, как Вы, Кони и др.,
представляют двоякий интерес. В них я ищу, во-первых,
художественных достоинств, искусства и, во-вторых, того, что
имеет научное или судебно-практическое значение.
А.П. Чехов

Сергей Аркадьевич Андреевский (1847-1918 гг.) родился 29 декабря 1847 г. в Екатеринославле. В 1865 году с золотой медалью окончил курс в местной гимназии и поступил на юридический факультет Харьковского университета. После окончания в 1869 году университета был кандидатом на должность при прокуроре Харьковской судебной палаты, затем следователем в г. Карачаеве, товарищем прокурора Казанского окружного суда.

В 1873 году, при непосредственном участии А.Ф. Кони, с которым он был близок по совместной работе, С.А. Андреевский переводится товарищем прокурора Петербургского окружного суда, где он зарекомендовал себя как перво-классный судебный оратор.

В 1878 году царская юстиция подготавливала к слушанию дело по обвинению В. Засулич о покушении на убийство Петербургского градоначальника Трепова. В недрах Министерства юстиции тщательно отрабатывались вопросы, связанные с распространением этого дела. Большое внимание уделялось составу суда и роли обвинителя в процессе. Выбор пал на двух прокуроров — С.А. Андреевского и В.И. Жуковского, однако, они участвовать в этом процессе отказались.

Самостоятельный в своих суждениях, смелый во взглядах, Андреевский поставил условие предоставить ему в своей речи дать общественную оценку поступку Трепова и его личности. Естественно, царская юстиция на такое требование Андреевского не согласилась. После рассмотрения дела В. Засулич Андреевский был уволен в отставку.

В связи с уходом Андреевского из прокуратуры А.Ф. Кони 16 июня 1878 года писал ему: «Милый Сергей Аркадьевич..., не унывайте, мой милый друг, и не падайте духом. Я твердо убежден, что Ваше положение скоро определится и будет блистательно. Оно Вам даст свободу и обеспечение — даст Вам отсутствие сознания обидной подчиненности всяким ничтожным личностям. Я даже рад за Вас, что судьба вовремя выталкивает Вас на дорогу свободной профессии. Зачем она не сделала этого со мной лет 10 тому назад?»

Вскоре А.Ф. Кони подыскал ему место юрисконсульта в одном из Петербургских банков. В этом же 1878 году Андреевский вступил в адвокатуру.

Уже первый процесс, в котором выступил Андреевский (речь в защиту обвиняемого в убийстве Зайцева), создал ему репутацию сильного адвоката по уголовным делам. Речь по делу Сарры Беккер в защиту Мироновича принесла

ему репутацию одного из блестящих ораторов по уголовным делам и широкую известность за пределами России.

Методы осуществления защиты у него были иные, чем у Александрова. Он не отличался глубоким всесторонним анализом материалов дела, недостаточно уделял внимание выводам предварительного следствия (защитительная речь по делу Мироновича является исключением).

В основе речей Андреевского почти не встретишь тщательного разбора улики, острой полемики с прокурором; редко он подвергал глубокому и обстоятельному разбору материалы предварительного и судебного следствия; в основу речи всегда выдвигал личность подсудимого, условия его жизни, внутренние «пружины» преступления.

«Не стройте вашего решения на доказанности его поступка — говорил он по одному делу, защищая подсудимого, — а загляните в его душу и в то, что неотвратимо вызывало подсудимого на его образ действий».

Андреевский умело пользовался красивыми сравнениями. Для осуществления защиты часто использовал острые сопоставления как для опровержения доводов обвинения, так и для обоснования своих выводов. В своих речах он почти не касался больших общественно-политических проблем. В борьбе с уликовым материалом не всегда был на высоте, допуская иногда «защиту ради защиты». Широко проповедовал в своих речах идеи гуманности и человеколюбия. Основное внимание им обращалось на личность подсудимого, на обстановку, в которой жил, и условия, в которых подсудимый совершил преступление. Психологический анализ действий подсудимого Андреевский давал всегда глубоко, живо, ярко и убедительно. Его без преувеличения можно назвать мастером психологической защиты.

Осуществляя защиту по сложным делам, построенным на косвенных уликах, он выбирал только наиболее удобные для защиты пункты, правда, давал им всегда тщательный анализ.

В делах, где требовались не только последовательность и непогрешимая логика, но и строгое юридическое мышление, исследование законодательного материала, он, как адвокат, был не на высоте, и успех ему изменял. Как судебный оратор С.А. Андреевский был оригинален, самостоятелен, ораторское творчество его окрашено яркой индивидуальностью.

Основной особенностью его как судебного оратора является широкое внесение литературно-художественных приемов в защитительной речи. Рассматривая адвокатскую деятельность как искусство, он защитника называл «говорящим писателем». «...Уголовная защита, прежде всего, не научная специальность, а искусство, такое же независимое и творческое, как все прочие искусства, т.е. литература, живопись, музыка и т.п...

...В сложных процессах, с уликами коварными и соблазнительными добиться правды способен только художник, чуткий понимающий жизнь, умеющий верно понять свидетелей и объяснить истинные бытовые условия происшествия»².

2 С.А. Андреевский. Драммы жизни. Защитительные речи. 5-е доп. изд. — Петроград, 1916. С. 4-5.

В этой же работе, отмечая роль психологического мира подсудимого, Андреевский говорил: «Художественная литература, с ее великим раскрытием души человеческой, должна была сделаться основной учительницей уголовных адвокатов».

Отмечая необходимость внесения в уголовную защиту приемов художественной литературы, он писал: «Сделавшись судебным оратором, прикоснувшись на суде присяжных к «драмам действительной жизни», я почувствовал, что и я, присяжные заседатели, - мы воспринимаем эти драмы, включая сюда свидетелей, подсудимого и бытовую мораль процесса, совершенно в духе и направлении нашей литературы. И я решил говорить с присяжными, как говорят с публикой наши писатели. Я нашел, что простые, глубокие, искренние и правдивые приемы нашей литературы в оценке жизни следует перенести в суд».

Эти взгляды на защиту он не только высказывал в печати, но практически осуществил в суде.

Его современники говорили, что слог Андреевского прост, ясен, хотя и несколько напыщен. Андреевский был очень сильным оратором, имеющим богатый словарный запас и огромный опыт судебной работы. Речи его стройные, плавные, полные ярких запоминающихся образов, но увлечение психологическим анализом нередко мешало ему дать глубокий анализ доказательств, что в ряде случаев сильно ослабляло речь.

Судебные речи Андреевского изданы отдельной книгой, выдержали пять изданий. Он разработал теорию русского судебного красноречия и доказал, что опыт французского судебного ораторского искусства неприменим в условиях русской действительности.

САМЫЙ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПРОПОВЕДНИК ВЫСОКИХ ИДЕАЛОВ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ АРСЕНЬЕВ

Нас привлекает этот редкий дар излагать
отвлеченное удобопонятно, сложное просто...
Но бурным горным потоком неслась Ваша речь,
не кипела она страстью, но она овладевала
нами неудержимою силою убеждения. Она
была похожа на большие русские реки...
Ваше слово потому было столь обаятельно, что
Ваша деятельность адвокатская была Вам по душе.
В.Д. Спасович

Константин Константинович Арсеньев (1837-1919 гг.) — один из виднейших организаторов дореволюционной русской адвокатуры. Он родился 24 января 1837 года в семье известного русского статистика, географа и историка, академика К.И. Арсеньева. В 1849 г. он поступает в Училище правоведения и в 1855 г. по окончании училища определяется на службу в департамент Министерства юстиции. В отличие от других известных дореволюционных русских судебных ораторов, К.К. Арсеньев не был профессиональным адвокатом, хотя работе в адвокатуре он посвятил около десяти лет жизни. Диапазон общественной деятельности К.К. Арсеньева широк. Он проявил себя как публицист, критик, крупный теоретик в области права и общественный деятель. К.К. Арсеньев был одним из редакторов «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона, в течение нескольких лет возглавлял Литературный фонд. Опубликовав несколько работ о творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н. Плещеева,

В.Г. Короленко, А.П. Чехова и др., он был избран почетным академиком по разряду изящной словесности.

В 1858-1863 гг. он занимает пост редактора «Журнала Министерства юстиции». С 1864 года он оставляет службу и посвящает себя литературной деятельности: сотрудничает в «Отечественных записках» и «Санкт-Петербургских ведомостях» и в этом же году отправляется за границу в Боннский университет для пополнения своего образования. По возвращении из-за границы Арсеньев поступает в присяжные поверенные петербургской Судебной Палаты, где вскоре избирается председателем Совета. На этом посту он пробыл около восьми лет. К этому периоду жизни и относится по преимуществу его деятельность на поприще адвоката. В дальнейшем (с 1874 года) он вновь служил в Министерстве юстиции, был товарищем обер-прокурора гражданского кассационного департамента правительствующего сената, а затем (примерно с 1880 г) он окончательно оставляет службу и всецело отдается литературной работе. Лишь в 1884 году он вновь на короткое время вступает в присяжные поверенные с той лишь целью, чтобы принять на себя защиту в Петербургской судебной палате интересов Петербурга по известному в то время делу об отказе общества водопроводов в устройстве водоочистительных фильтров.

Современники Арсеньева очень высоко ценили его деятельность в адвокатуре, особенно в период нахождения его на посту председателя Совета, отмечая его бескорыстие, стремление к организационному укреплению адвокатуры и внедрению в адвокатскую практику высокоэтических и нравственных принципов. «Избранный в председатели Петербургского совета присяжных поверенных в 1867 году — писал о нем Л.Д. Ляховецкий, — он все время состояния своего в корпорации руководил ею как глава с большим тактом и достоинством. Чуткий к вопросам профессиональной этики, исполненный глубокого уважения к адвокатской деятельности, в которой он видел одну из форм общественного служения на скользком, усеянном соблазном быстрой и легкой наживы, поприще. К.К. Арсеньев более всех других содействовал и личным примером, и влиянием на дисциплинарную деятельность Совета, выработке симпатичного типа адвоката. Он был одним из самых деятельных и энергичных организаторов адвокатуры в жизни».³

Конечно, в условиях царской России нельзя было создать из адвокатуры достойной, по выражению А.Ф. Кони, «общественной силы»,⁴ так как она призвана была осуществлять определенные классовые цели, однако, деятельность К.К. Арсеньева, несомненно, сыграла положительную роль в ее организационном укреплении.

В своих многочисленных теоретических работах, посвященных русской адвокатуре, К.К. Арсеньев также неустанно проповедовал те высокие идеалы, которые он практической деятельностью стремился воплотить в организационные начала адвокатской корпорации. Особенно в этом отношении заслуживает внимания его книга «Заметки о русской адвокатуре» (Спб., 1875 г.), в которой он наиболее полно и всесторонне осветил вопрос о нравственных принципах и адвокатской этике. Его перу принадлежит также ряд работ об иностранной адвокатуре («О современном состоянии французской адвокатуры», «Французская адвокатура, ее сильные и слабые стороны»; «Преобразование Германской адвокатуры» и др.). Характерно, однако, что и эти работы он подчиняет своей основной идее — необходимости внедрения в адвокатскую деятельность высоких моральных устоев, нравственных и этических начал.

Талант и самобытность К.К. Арсеньева как адвоката-практика проявились в ряде его защитительных речей по ряду крупных процессов. Ему не были свойственны эффектные тирады, красивые фразы и пламенное красноречие. Его речь отличалась скупостью красок и художественных образов. Он старался убедить суд скупыми, но четкими суждениями, точными характеристиками и доводами, построенными на анализе даже самых мелких фактов и обстоятельств. Он, по его образному выражению, старался «низвести дело с той высоты, на которую возносил его предшественник». К.К. Арсеньев, выступая в процессах, выше всего ставил свое убеждение, ничто не могло на него повлиять. Это придавало его речам высокий темперамент, большую силу. Стиль его речей, так же как и печатных произведений, — ровный, деловой, спокойный, лишенный

³ Л.Д. Ляховецкий. Характеристика известных русских судебных ораторов. Спб, 1897, стр. 77

⁴ См. А.Ф. Кони. Отцы и дети судебной реформы (к пятидесятилетию уставов). Издание т-ва И.Д.Сытина, 1914. С. 241.

нервных порывов и резкостей. Как отмечают современники К.К. Арсеньева, он говорил плавно, но быстро. Быстрота речей не позволяла детально стенографировать его выступления, вследствие чего многие из его опубликованных речей в той или иной мере, нередко в значительной, отличаются от произнесенных перед судом. Тем не менее, это не умаляет их достоинств.

Показательны две его речи: по делу Мясниковых (в защиту Александра Мясникова) и по делу Рыбаковской. Обе речи довольно отчетливо характеризуют его как судебного оратора. Глубокий и последовательный анализ доказательств, внимательный и всесторонний разбор доводов обвинителя при сравнительно простой структуре речей, убедительность доводов и отсутствие излишнего полемического задора — свойственны и той и другой его речам.

Уникальное сочетание таланта адвоката и таланта литератора, следование высоким этическим принципам обеспечило К.К. Арсеньеву заслуженное признание и уважение современниками и потомками.

ВЫДАЮЩИЙСЯ СУДЕБНЫЙ ОРАТОР И ПРОГРЕССИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РОССИИ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ КАРАБЧЕВСКИЙ

Н.П. Карабчевский не только адвокат, но и литератор, и во взглядах на адвокатскую профессию придерживается лучших традиций, созданных выдающимися судебными ораторами.

А.Г. Тимофеев

Николай Платонович Карабчевский (1851-1925 гг.) родился в Херсонской губернии 30 ноября 1851 года. В 1869 году окончил с серебряной медалью Николаевскую реальную гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета, который в 1874 году успешно окончил со степенью кандидата прав.

Из-за участия в студенческих волнениях он не смог получить удостоверение о благонадежности, требуемое при поступлении на службу в Министерство юстиции. Но вскоре он вступил в адвокатуру при Петербургской окружной судебной палате. Быстро завоевал популярность как один из видных защитников по уголовным делам.

Отношение Карабчевского к профессии адвоката выражено в его словах: «...Современному судебному оратору, желающему стоять на высоте своей задачи, нужно обладать такими разносторонними качествами ума и дарования, которые позволили бы ему с одинаковой легкостью овладеть всеми сторонами защищаемого им дела. В нем он дает публично отчет целому обществу и судейской совести, причем, по односторонности ли своего дарования, по отсутствию ли достаточных знаний и подготовки, он не вправе отступить ни перед психологическим, ни перед бытовым, ни перед политическим или историческим его освещением»⁵.

Из крупных процессов, в которых он принимал участие, можно назвать политический процесс «193-х», дело об интендантских злоупотреблениях во время русско-турецкой войны, рассмотренного особым присутствием Петербургского Военно-окружного суда. Позднее Карабчевский выступал в защиту Мироновича по делу об убийстве Сарры Беккер, поручика Имшенецкого, обвиняемого в убийстве жены. Во всех этих процессах он проявил себя как настойчивый адвокат, умеющий дать обстоятельный анализ в сложных и запутанных делах.

Впоследствии он выступал почти во всех громких процессах. К числу наиболее известных его речей по уголовным делам относится его блестящая речь в защиту Ольги Палем, обвинявшейся в убийстве студента Довнар, в защиту братьев Скитских, в защиту мултанских вотяков, в разрешении судьбы которых горячее участие принимал В.Г. Короленко. Большой известностью пользовалась его речь по делу крушения парохода «Владимир». Широко известны его речи по политическим делам.

5 Н.П. Карабчевский Около правосудия.— СПб., 1908.— С. 90.

Судебные выступления Карабчевского — убедительные, уверенные и горячие. Он всегда детально изучал материалы предварительного следствия, активен был на судебном следствии, умело использовал в целях защиты добытые там доказательства. Умел суду показать ошибки и промахи противника. В процессе всегда был находчив, его речи легко воспринимаются, доходчивы.

В профессиональной деятельности Карабчевского особое место занимают его речи по так называемым политическим делам и по делам, в которых политическую направленность процесса царская юстиция маскировала общеуголовными составами преступлений. Принимая в них участие в качестве защитника, Карабчевский понимал свою ответственность перед лицом прогрессивных слоев дореволюционной России. Этим и объясняется, что в своих судебных выступлениях по данной категории дел он всегда затрагивал острые политические вопросы.

По своим убеждениям Н.П. Карабчевский принадлежал к левому крылу русских либералов. Как и А.Ф. Кони, В.Д. Спасович и многие другие русские юристы, он не примыкал ни к какой политической партии. Он всегда шел своим путем, независимо от воли «сильных мира сего». Карабчевский посвятил свои дарования не власти и моде, а идее борьбы за справедливость. Не удивительно поэтому, что на предложение А.Ф. Керенского, занявшего пост министра юстиции во Временном правительстве, получить звание сенатора ответил категоричным отказом: «Нет, разрешите мне остаться тем, что я есть — адвокатом». В этом ответе был весь Карабчевский, его отношение к Временному правительству и к Керенскому. Ко времени падения русского самодержавия имя Н.П. Карабчевского значилось среди имен выдающихся русских судебных ораторов и прогрессивных общественных деятелей. Советские историки по достоинству относили его к числу «самых ярких светил русской адвокатуры».⁶ Он был одарен глубоким умом, блестящим ораторским талантом и хорошими литературными способностями. Там, где требовался обстоятельный разбор юридической стороны дела, он всегда находился на высоте и давал глубокий анализ норм права, демонстрируя глубокие знания и эрудицию. Карабчевский одинаково был силен в делах, требующих тонкого психологического анализа, и делах, требующих тонкого анализа доказательств, умелой полемики с научными выводами экспертов.

О своей многолетней адвокатской и общественной деятельности Карабчевский на закате жизни сказал: «Мои личные успехи в жизни, адвокатуре, как гашиш, подчас туманили мне голову, и я старался не думать, т.е. не задумываться слишком, над тем, чему я не мог помочь. Весь в работе и в увлечениях, я не был чужд, однако, часов глубокого пессимистического раздумья...об этом можно отчасти судить по моему роману «Господин Арсков». Меня ненавидел Н. Муравьев, а за ним и вся прокуратора, и если бы я допустил малейший адвокатский промах, со мною рады были бы сосчитаться беспощадно...»⁷.

6 Троицкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности. 1866-1895 гг. - М., 1979. - С. 193.

7 Карабчевский Н.П. Что глаза мои видели. Т.2. С.43.

Помимо адвокатской деятельности Н.П. Карабчевский занимался литературным творчеством, публиковал статьи по юридическим вопросам, был редактором журнала «Юрист». Умер за границей в эмиграции.

КОРИФЕЙ СУДЕБНОГО ПСИХОАНАЛИЗА ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ ПЛЕВАКО

За всю историю отечественной
адвокатуры не было в ней человека
более популярного, чем Плевако.
Н.А. Троицкий

Конец XX столетия ознаменован повышению интереса к психоанализу, к наследию З. Фрейда. Создаются энциклопедии, разрабатываются методики психоанализа. Ведутся поиски ответов на сложнейшие вопросы психической жизни индивидуума и общества. Для разрешения современных проблем далеко не все полезное извлечено из арсенала отечественного психологического знания и сопредельных с ним сфер. До сего времени еще не осмыслено в полной мере наследие и практическая деятельность выдающихся русских юристов XIX столетия.

Особенно поражали современников фундаментальные познания в области юриспруденции, мастерство психоанализа Федора Никифоровича Плевако.

Ф.Н. Плевако родился в 1842 г., получил образование в Московском университете, окончив юридический факультет. После введения Судебных уставов 1864 года вступил в адвокатуру, состоял присяжным поверенным при Московской судебной палате. От процесса к процессу завоевывал все большее признание продуманными и проникновенными выступлениями. Имя его приобретало известность не только в России, но и за ее пределами. В плеяде выдающихся адвокатов он стал наиболее колоритной фигурой. Природный дар, высокая профессиональная подготовленность, растущий опыт, предельная тщательность в изучении сути дела, всех его нюансов позволяли Ф.Н. Плевако осуществлять тончайший психологический анализ мотивов, характера действий как преступивших закон, так и пострадавших. В личности Ф.Н. Плевако как бы соединились воедино строгий логик, психоаналитик, оратор и поэт. По способности к улавливанию малейших движений души человеческой, по способности словесно и интонационно передавать эти движения в своей речи — его можно, пожалуй, поставить в один ряд с такими мастерами слова, как Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.А. Фет, А.С. Пушкин, которым, как известно, не было равных в передаче едва видимых, тончайших движений души.

Одной из вершинных речей Ф.Н. Плевако по мастерству психологического анализа является его защитительная речь по делу Бартенева. Последний был предан суду по обвинению в умышленном убийстве артистки Марии Висновской. Ф.Н. Плевако сосредоточил внимание не столько на вопросах состава преступления, сколько на анализе духовно-нравственной обстановки, в которой созревало преступление, на раскрытии внутреннего и внешнего мира талантливой, красивой актрисы Висновской, которая успешно выступала на сцене Варшавского императорского театра. Душевный разлад молодой, пользующейся успехом женщины Ф.Н. Плевако обрисовал с такой психологической силой, какой вряд ли мог достичь кто-либо из его именитых собратьев по профессиональной деятельности. Анализируя обстоятельства дела Бартенева, Ф.Н. Плева-

ко использует серию различных способов выявления особенностей переживаний и действий как самого Бартенева, так и актрисы Висновской.

Обаянию громадного психологического таланта Ф.Н. Плевако поддавались и присяжные, и судьи, и прокурор, и присутствующая публика. Всех покоряла логика его ясных, доступных для понимания каждого доводов, всех завораживало его тончайшее психологическое воздействие. Стали легендами факты из деятельности этого прославленного юриста, о которых поведал российскому читателю писатель В.В. Вересаев: «Главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности чувства, которыми он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы. Судили священника, совершившего тяжкое преступление, в котором он полностью изобличался, не отрицал вины и подсудимый. После громовой речи прокурора выступил Плевако. Он медленно поднялся, бледный, взволнованный. Речь его состояла всего из нескольких фраз: «Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпущал на исповеди все ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему грех?». И сел».

В.В. Вересаев рассказал и о другом не менее любопытном факте, также ставшем легендой: «Прокуроры знали силу Плевако. Старушка украла жестяной чайник стоимостью меньше 50 копеек. Она была потомственной гражданкой, и, как лицо привилегированного сословия, подлежала суду присяжных. По наряду ли или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевако. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плевако и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но собственность священна. Все наше гражданское благоустройство держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет. Поднялся Плевако: «Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двенадцать языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно».

Ф.Н. Плевако умел как никто другой увязать содержание речи с интересами, настроением слушателей, к которым обращался. Он великолепно знал специфику судебной аудитории и мог в любой момент затронуть в выступлении самые нужные струны. В мемуарной литературе есть суждения о том, что Ф.Н. Плевако был фигурой столь колоритной, столь многогранной, что не укладывался в рамки обычного судебного деятеля. А.Ф. Кони по этому поводу говорил: «...Сквозь внешнее обличие защитника выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшая взмах его крыльев, со всей присущей им силой». По словам А.Ф. Кони,

это был «...человек, у которого ораторское искусство переходило во вдохновение». Уместно добавить, что изучение текстов речей Ф.Н. Плевако показывает, что им активно использовался практически весь арсенал известных ораторских приемов, вся сокровищница образно-выразительных средств русского языка. Блестящее знание возможностей родного языка, мастерское использование этих возможностей в воздействии на аудиторию как раз и составляло одно из важнейших слагаемых чарующей силы его речей.

Психологическое воздействие речей Ф.Н. Плевако обуславливалось и тем, что он как оратор не ограничивался освещением только сугубо юридической стороны дела. Нередко он затрагивал вопросы социально-экономического характера, касался тех жизненных проблем, которые волновали общество. Весьма характерна в этом отношении его защитительная речь по делу рабочих Коншинской фабрики. Показательна и речь в защиту Люторических крестьян, восставших против нечеловеческой эксплуатации и безмерных поборов со стороны чиновничьей камарильи. «У мужика, – говорил Плевако, – редок рубль и дорого ему достается. С отнятым кровным рублем у него уходит нередко счастье и будущность семьи, начинается вечное рабство, вечная зависимость перед мироедами и богачами...».

Каждая речь Ф.Н. Плевако, а их дошло до нас около 60, затрагивает животрепещущие нравственные проблемы, что также в значительной степени обуславливало их психологизм. Широчайший резонанс имело его гневное слово, адресованное игуменье Митрофании: «Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нравственному руководству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела! Место храма — биржа; вместо молящего люда — аферисты и скупщики поддельных документов; вместо молитвы — упражнение в составлении вексельных текстов; вместо подвигов добра — приготовление к ложным показаниям, – вот что скрывалось за стенами. Стены монастырские в наших древних обителях скрывают от монаха соблазны, а у игуменьи Митрофании — не то... Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители!».

Еще при жизни о нем ходили легенды. Современники называли его «оратором несравненным, вне конкурса». Популярность, которой он пользовался, была огромной. Его фамилия стала синонимом мастера слова. А ведь облик Ф. Плевако, казалось, расходился с классическим представлением об ораторе, внешность которого должна быть величественной, движения пластичны, а голос хорошо поставленным.

Знавший Федора Никифоровича А.Ф. Кони писал: «Его движения были неровны и подчас неловки, а пришептывающий голос шел вразрез с его призыванием оратора». Но это становилось незаметным, когда он воодушевлялся.

Этот человек был колоритнейшей фигурой среди крупных судебных ораторов своего времени. Он выделялся яркой индивидуальностью. Удачи и триумф сопутствовали ему всю жизнь. И некоторым он казался баловнем судьбы.

Ф. Плевако любил экспромт и импровизацию, но никогда он не пренебрегал тщательной подготовкой, предшествовавшей каждому выступлению. В этом процессе немаловажную роль играла его библиотека.

Федор Никифорович был одним из крупнейших библиофилов города. Он не принадлежал к числу собирателей, руководствующихся соображениями престижности или тем, что сейчас называют «хобби». Его библиотека была лабораторией творчества. К книгам он обращался за справками, делал подробные выписки. Но библиотека включала не только книги по профессии. Он предпочитал на отдыхе читать работы по философии, пренебрегал «развлекательной» беллетристикой.

Ф. Плевако готовил тексты выступлений, обложившись горами книг. Часто писал свои речи на длинных листах, которые затем склеивал в ленты. В ту пору пишущие машинки только появились и были встречены в основном скептически. Ф. Плевако был не только одним из первых в Москве, приобретших машинку, но и научившихся хорошо печатать.

Тексты выступлений знаменитого адвоката были разнообразны по разработке. Иногда это были подробные, тщательно написанные речи; иногда краткие записи — полунамёки, отдельные слова.

Во время выступлений Ф. Плевако менял иногда план, вносил коррективы. Так перед выступлением на процессе в городе Троицке Федор Никифорович имел черновик, где отдельными словами, краткими фразами были намечены вопросы, которых он собирался коснуться. Прокурор заканчивал свою речь. Услышав его заключительную фразу, Ф. Плевако быстро вставил: «фейерверк». И тут слово было предоставлено ему. Когда адвокат дошел до того места в своей речи, где нужно было отвечать на последнюю реплику обвинителя, он обрушился на обвинение именно «фейерверком». Тут были и цитаты из теологических трудов, и ссылки на книги юристов, и примеры из практики адвокатов Западной Европы, отрывки из лекций по юриспруденции.

Речь, которую он говорил по плану, никогда не страдала схематизмом, а сохраняла всю естественность живого общения, но без ущерба цельности мысли.

Речам Ф. Плевако была присуща особая интонация, которая, как выражались современники, отличалась «колдовской» заразительностью чувства. По выражению А. Кони, это был человек, «у которого ораторское искусство переходило во вдохновение».

В его интонации таилась огромная сила. Он говорил звучно, твердым и уверенным тоном. Фразы напоминали водопад, но в них, как ни странно, отсутствовало напряжение.

В книге, вышедшей при жизни знаменитого адвоката и специально посвященной его ораторскому искусству, писалось: «Есть адвокаты, превосходящие Плевако и глубиной мышления, и любовью к возвышенным идеям, но нет на Руси оратора более типичного. Слушая этого оратора, удивляешься, какой высоты могут достигнуть свобода и легкость речи. Плавные красивые периоды дружно и легко, один за другим в стройном порядке бегут и производят чару-

ющее впечатление. Вы слушаете, затаив дыхание, и поражаетесь этой богатырской мощью»⁸. Его речь — неисчерпаемый «родник слова».

Оратор пользовался различными приемами литературного изложения. Эпитеты в его речах были точными и яркими. Во время защиты крестьян села Люторичи, подавших в суд на беспощадно угнетавшего их помещика (Ф. Плевако часто брал дела, которые не приносили больших гонораров, но отличались социальным содержанием), Федор Никифорович говорил о крестьянском наделе: «Это — ничтожный надел, даровый, как его именует закон, нищенский, как его обзывают в литературе, кошачий по меткому выражению русского голодающего остроумия». Как много сказано сочетанием этих двух последних слов!

Сравнения отличались меткостью и неожиданностью. В той же речи перечислены дела, возбужденные управляющим графа Бобринского Фишером против люторических крестьян: «В 1870 году — 51 дело на 9937 руб.; в 1871 — 54 дела на 13302 руб.; в 1872 — 28 дел на 7858 руб. В 1873 — рука бьющего устала и вчинила только 5 дел и только 1309 руб. взыскано. Со следующим годом — 20 дел на 6588 руб». Оратор нарисовал картину, в которой это случайное уменьшение дел только усилило общее впечатление.

Сравнения и образы убедительные, запоминающиеся. Когда его подзащитную на одном из процессов обвиняли в нескромности, указывая на увлечения до брака, он сказал: «Кто из нас, имея в семье молодых девушек, не знает, что серьезному чувству предшествуют, «как эскизы картине, мимолетные вспышки нежности?»

Ф. Плевако превосходно владел стихом, мог импровизировать, пародировать. Один из современников писал: «Он был хозяином слова, который владел им так, как другой владеет мыслью». Кроме того, оратор любил остроты и каламбуры...

В защитительных речах Ф. Плевако не было пустоты, которую у других адвокатов можно было обнаружить за внешней эмоциональностью и импульсивностью. Речи Ф. Плевако полны искреннего и благородного чувства в защиту «униженных и оскорбленных», как это было на процессе люторических крестьян или на процессе рабочих фабрики Коншина. Не случайно выступления

Ф. Плевако отличались темпераментом, жизненной достоверностью, давали толчок и простор для размышлений. Речи его выделялись большой психологической глубиной, доходчивостью и простотой. Самые сложные человеческие отношения, неразрешимые подчас житейские ситуации освещал он в доступной, понятной для слушателей форме, с особой внутренней теплотой. Слушатели поддавались обаянию таланта Ф. Плевако, оказывались «в плену» его тонкого психологического воздействия.

Содержание речи, ее тон и стиль Ф. Плевако умело увязывал с настроением слушателей, затрагивая душевные струны. Сопоставимо изложение обстоятельств в речи Ф. Плевако по делу люторических крестьян с показаниями судебного пристава. Представители власти явились в деревню для описи крестьянского имущества. Об этом говорит Ф. Плевако: «Но мужики не вышли к

⁸ Ляховецкий Д. Характеристики известных русских судебных ораторов. СПб., 1902. С.6-7.

ним навстречу. Где они? Всем миром, за исключением старых да малых, они до свету ушли в сельцо Бобрики, к графу, просить его милости, о неразорении... Пока на пороге графского дома люторовцы ждали, когда примет их барин, к судебному приставу вышли одни бабы да старые и малые, оставшиеся в деревне. Начались просьбы — понятно о чем: они просили подождать, пока придут сами мужья и братья, придут с милостью да с барским ласковым словом. На просьбы их нет ответа: пристав идет без хозяев в дома начать опись. Вдали показался скачущий всадник, — то посол от крестьян; прислали его сказать, что надо подождать с описью, пока они приедут, а они сами замешкались: барин еще спит и не выходит к ним выслушать их просьбу... Тщетно, пристав идет делать свое дело. В толпе начинается шум: одни плачут, другие просят. Все сливается в музыку скорби и ропота». А вот как излагает дело пристав: «Но из домохозяев села Люторичи явилось по вызову не более 20 человек: большая же часть домохозяев отправилась по вызову графа Бобринского в село Бобрики... Вместо домохозяев к волостному правлению собралась толпа женщин до 400 человек, а затем, из числа крестьян, отправившихся в село Бобрики, прибыл Григорий Иванов Поздняков и объявил при исправнике и прочих должностных лицах, что люторические крестьяне, находящиеся в Бобриках, приказали не допускать до описи их имущества». Эмоциональная окрашенность лексики Ф. Плевако противостоит сухому, бездушному изложению обстоятельств приставом. У Ф. Плевако: «всем миром, за исключением старых да малых», «до свету ушли в сельцо Бобрики», «просили подождать», «замешкались». У пристава: «большая же часть домохозяев...отправилась», «приказали не допускать до описи».

Лексика достаточно показательна как в том, так и в другом случае. Сравнивая различные формы передачи одного содержания, мы яснее можем выявить специфику каждой из форм.

От чего же зависит стиль изложения обстоятельств дела? У Ф. Плевако он зависит от целесообразности выбора языковых средств для передачи конкретных фактов и действий. Так, во вступительной части речи по делу люторических крестьян он применяет логику, свойственную демократической публицистике: «надел даровый, нищенский, кошачий, по меткому выражению русского голодающего остроумия». Говоря о существе дела, Ф. Плевако использует литературные обороты, характерные для социально-экономической литературы: «Крестьяне не могут жить наделом: работа на стороне и на полях помещика для них неизбежна, к ней они тяготеют не как вольно договаривающиеся, а «как невольно принуждаемые, — в этом идея и смысл системы, практикуемой управляющим графских имений». Слова «вольно договаривающиеся», «невольно принуждаемые», «идея и смысл системы» обозначают понятия социально-экономические, которые оратор заимствовал из литературы своего времени.

Преднамеренно отталкиваясь от выступления обвинителя, оратор строит свою речь по контрасту. Вступление, например, представляет собой развернутый период в духе классической риторики. Предложения идут одно за другим, словно нанизываются, акцентируются признаки изображаемого явления: «Документы прочитаны, свидетели выслушаны, обвинитель сказал свое слово — мягкое, гуманное, а потому и более опасное для дела; но жгучий

и решающий задачу вопрос не затронут, не поставлен смело и отчетливо. А между тем он просится, он рвется наружу: заткните уши, зажмите глаза, зажмите мои уста, — все равно он пробьется насквозь; он в фактах нами изученного дела; его вещают те заведенные порядки в управлении владельца деревни Люторочи, те порядки, которые я назову «картиной послереформенного хозяйства в одной из барских усадеб», где противоестественный союз именитого русского барина с остзейским мажордомом из года в год, капля по капле, обессиливал свободу русского мужика, и, обессилив, овладел ею в свою пользу».

Ясно сформулировано обобщение оратором, которое социально заостряет вопрос. Ф. Плевако предлагает рассматривать его как одно из возможных дел в «одной из барских усадеб».

Контрастное сопоставление позиций защиты и обвинения осуществляется с помощью приемов, характерных для демократической публицистики. Речь оратора метафорична: «вопрос... просится... рвется наружу», «из года в год, капля по капле», «зажмите глаза, зажмите мои уста — все равно он пробьется насквозь».

В январе 1896 г. произошла стачка рабочих на фабрике, принадлежавшей Коншину. Стачка была подавлена. Стачечники предстали перед судом.

Для Ф. Плевако как защитника сложность дела состояла в том, что он не смог открыто критиковать систему, ставшую на защиту фабриканта. Оратор понимал, что в рамках «закона» ему не найти для рабочих оправдания. Поэтому он обратился к судьям с призывом взглянуть на дело не формально, не с позиций судебных схем, а увидеть «житейское значение фактов дела».

В речи Ф. Плевако делает упор на эмоциональность оценок, стремится добиться от присяжных понимания положения рабочих в силу конкретных жизненных обстоятельств. Высокий пафос речи достигается образным описанием труда на фабрике: «Вечный визг махового колеса, адский шум машины и пыхтение паровика, передающего свою силу десятку тысяч станков, около которых ютятся как мало значащие винтики рабочие люди... Титаническая сила — машина, блестит чистотой и изяществом своих частей, к ней прикованы забота и любовь домовладыки, и только они, легко заменимые в случае порчи, винтики чужды любви и внимания. Это ли условие подъема личности. Выйдем из фабрики... Кое-где виднеется церковь, одна-две школы, а ближе и дальше — десятки кабаков и притонов разгула. Это ли здоровое условие нравственного роста. Есть кое-где шкаф с книгами, а фабрика окружена десятками подвалов с хмельным, все заботы утоляющим вином. Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабочего, надорванного всеми внутренностями от бесконечно однообразного служения машине».

Оратор видит корни явления. Отсюда и символика — «титаническая сила — машина», «винтики», «домовладыки»; разящие противопоставления: «...Машина блестит чистотой... и только они...». «Кое-где виднеется церковь... а ближе и дальше — десятки кабаков и притонов разгула»; риторические усиления: «Это ли условие подъема личности», «Это ли здоровое условие нрав-

ственного роста», «Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабочего».

Творческое наследие Ф.Н. Плевако, спустя столетие, требует нового, современного прочтения и осмысления. Это необходимо не только в интересах судебной, но и социальной, политической, общей психологии. Ф.Н. Плевако, безусловно, была выработана своя оригинальная система анализа душевной жизни человека. В его речах множество фактов, указывающих на связь сознания подсудимого или его жертвы с глубинными уровнями психической активности.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ ОБРАЗОВАННЫЙ ЮРИСТ И ВЫДАЮЩИЙСЯ СУДЕБНЫЙ ОРАТОР ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ СПАСОВИЧ

Спасович являлся не только своеобразным, глубоким и талантливым представителем адвокатуры, но и всею своею деятельностью на этом поприще преподавал достойные самого внимательного изучения приемы и способы, согласные с непосредственными целями и, вместе с тем, с общественными задачами адвокатуры.
А.Ф. Кони

Владимир Данилович Спасович (1829-1908 гг.) родился 16 января 1829 г. в г. Речице Минской губернии. Начальное образование он получил в минской гимназии, которую в 1845 году окончил с золотой медалью. В 1849 году по окончании юридического факультета Петербургского университета работал чиновником в Палате уголовного суда. В 22 года он защитил магистерскую диссертацию по кафедре международного права. Занимался педагогической работой. Был близок с известным ученым юристом К.Д. Кавелиным, по рекомендации которого занял в Петербургском университете кафедру уголовного права.

Одаренный юрист, известный своими теоретическими работами в области уголовного права и уголовного процесса, гражданского и международного права, он также известен как литератор, публицист и критик. Отдельные положения его магистерской диссертации «О праве нейтрального флага и нейтрального груза» были использованы в парижских декларациях 1856 года.

Спасович является автором одного из лучших в свое время учебников русского уголовного права, после опубликования которого ему была присуждена степень доктора прав.

Блестящий лектор, он пользовался у студентов популярностью. Являясь врагом рутинных взглядов в науке уголовного права и процесса, он вызвал тем самым недовольство университетского начальства. В связи со студенческими волнениями в 1861 году вместе с группой передовых ученых оставил Петербургский университет.

Появление учебника Спасовича вызвало большие нападки редакционной профессуры, которая подвергла жестокой критике прогрессивные положения, выдвинутые в нем. Эти яростные нападки привели к тому, что в 1864 году по распоряжению Александра II учебник был запрещен, а Спасович, избранный к этому времени ординарным профессором Казанского университета, к исполнению служебных обязанностей допущен не был. В адвокатуру Спасович вступил в 1866 году. Выступал в качестве защитника по ряду политических дел.

Спасович — оратор огромной эрудиции, большой художник, глубокий знаток истории и литературы. Был очень требователен к себе и коллегам по работе. Свои речи он отрабатывал в мельчайших подробностях. Они поражают силой чеканного слова, богатством языка и глубиной мысли, умелым использованием сравнений. В его речах никогда не встретишь напыщенных фраз, стиль

их прост, доходчив. Свои речи строил он всегда в строгом логическом порядке, широко и умело используя богатство русского языка.

Однако следует отметить, что его речи не отличаются внешней отделкой, их сила и значение во внутреннем содержании. Несомненным достоинством речей Спасовича является удачная их планировка, тщательно продуманный анализ собранных по делу доказательств. В речи он умело и убедительно ставит каждое доказательство на свое место. Большой психолог, он всегда находит правильный тон речи, ему чужда несдержанная полемика с противником.

Спасович одинаково силен как в делах, где подсудимый отрицал свое участие в преступлении, так и в делах, где квалификация преступлений была сомнительной, или совершение преступления оспаривалось. Одной из лучших его речей является речь по делу об убийстве Нины Андреевской. Здесь умело и правильно распределен обильный доказательственный материал. Эта речь показывает большую подготовительную работу адвоката перед выступлением в суде. Обращает на себя внимание та часть выступления В.Д. Спасовича, где он полемизирует с медицинскими экспертами. Эта полемика свидетельствует о глубоком знании большого количества работ, посвященных специальным вопросам медицины.

Несмотря на то, что в отдельных местах речь перегружена излишними подробностями, она является образцом глубокого и обстоятельного анализа судебных доказательств. Речь эта имеет большой теоретический и практический интерес. Она свидетельствует об исключительно умелом оперировании косвенными доказательствами.

Касаясь ораторского искусства Спасовича, следует отметить, что из замечательной плеяды дореволюционных адвокатов никто так глубоко, так умело и широко не пользовался научными знаниями, как Спасович. Глубокие, поистине энциклопедические знания были его могучим оружием в судебном поединке.

Давая характеристику В.Д. Спасовичу, А.Ф. Кони писал: «В числе многих и многие годы я восхищался его оригинальным, непокорным своим словом, которое он вбивал, как гвозди, в точно соответствующие им понятия — добивался его горячими жестами и чудесной архитектурой речи, неотразимая логика которых соперничала с глубокой их психологией и указаниями долгого, основанного на житейском опыте раздумья».⁹

Отмечают, что Спасович, начиная речь, как бы разочаровывал слушателей. Первую фразу он произносил с большим внутренним напряжением. Оратор вначале заикался, слова были непокорны, фразы рождались тяжело, резали слух, но проходили первые минуты, и он овладевал аудиторией, произносил речь уверенно, твердо, убедительно. Замеченные дефекты сглаживались богатством мыслей, которые щедро подавались ярким, образным языком.

В некоторых своих речах Спасович затрагивал этические вопросы деятельности адвоката в уголовном процессе. Так, по делу Всеволода Крестовского он, касаясь осуществления защиты по назначению суда, говорит:

9 А.Ф. Кони. Отцы и дети реформы. СПб, 1914. С.229.

«Это такая же служба, как воинская повинность: ее можно исполнять двояко, как казенщину, формально, или с усердием, влагая душу в дело, употребляя все усилия, чтобы подействовать на ум и сердце судей. Я полагаю, что только тот, кто исполняет эту обязанность последним из двух способов, заслуживает, чтобы его уважали, и, конечно, когда кому защитник понадобится, а он может понадобиться всякому, то пожелают только такого защитника, который не делал ни малейшего различия между делом, назначенным ему от суда, по повинности, и делом, защищаемым им по соглашению».

Далее он подчеркивает, что выбор адвокатом средств защиты должен быть предельно добросовестным, свободным от выбора клиента. В средствах защиты не должно быть места сомнительным доказательствам, представленным клиентом.

В своих работах, освещающих деятельность адвоката, он подчеркивает ее общественный характер, призванный служить широким интересам правосудия.

Известный публицист Г. Джанишев в одной из своих статей дал следующую оценку деятельности Спасовича:

«Спасович своей многолетней адвокатской практикой принес громадную пользу и новому суду, и молодой адвокатской корпорации. Благодаря своим общественным и научным познаниям и мастерской разработке юридических вопросов, Спасович пользовался большим авторитетом в глазах судов всех степеней, не исключая и кассационного. Ни один десяток вопросов можно отметить в кассационной практике, разрешенных при деятельном и просвещенном содействии такого талантливому и трудолюбивому юриста»¹⁰.

Отдав адвокатской деятельности 40 лет своей жизни, Спасович всегда сочетал эту работу с литературной и научной деятельностью. Десять томов его собраний сочинений посвящены самым разнообразным отраслям знаний. Здесь исследования, посвященные вопросам права, крупнейшими из которых являются «О праве нейтрального флота и нейтрального груза», «Об отношениях супругов по имуществу по древне-польскому праву» и ряд работ, посвященных гражданскому праву.

Большим вкладом в науку является разработанная им теория судебно-уголовных доказательств, теория взлома, большое количество работ по вопросам уголовного права и процесса.

Следует также отметить критические, литературно-публицистические статьи, посвященные разбору творчества русских и западных писателей: творчеству Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Сенкевича, Байрона, Гете, Шиллера, Шекспира и др.

Литературные труды В.Д. Спасовича свидетельствуют о большом таланте и многогранности его интересов. Деятельность этого замечательного юриста оставила яркий след в истории дореволюционной адвокатуры.

Ф.М. Достоевский, критиковавший судебные речи Спасовича, вместе с тем признавал, что он «талант из ряда вон, сила»¹¹. С.А. Андреевский, выступая

¹⁰ Джанишев Г. Эпоха великих реформ. СПб. 1907 С. 811.

¹¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. худож. произведений. Т. XI. - М-Л, 1929. С.199.

на юбилее В.Д. Спасовича, говорил, что если бы понадобилось отметить в нем нечто не умирающее, самое могущественное, то нужно было бы назвать непроизвольное художество, поэзию, образность. Его сильный, проникнутый умом и страстью язык поучал, побеждал, творил, запечатлевался в умах самобытными, ему одному свойственными, яркими образами его чудесной музыки. Его слова западали в душу, как капли кипящего сургуча; они сверкали и освещали его мысль, как бриллианты и молния.

С.А. Андреевский имел веские аргументы, чтобы сказать о В.Д. Спасовиче: «вся администрация — министры, сенаторы и прокуроры — поневоле смотрела на него снизу вверх»¹².

¹² Андреевский С.А. Драммы жизни. - СПб., 1916. С.615.

ДЕЯТЕЛЬ ОГРОМНОГО УМА И БОЛЬШОЙ ПРИРОДНОЙ ОРАТОРСКОЙ СИЛЫ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ УРУСОВ

Основным свойством судебных речей Урусова —
была выдающаяся рассудочность.
Отсюда чрезвычайная логичность всех его построений,
тщательный анализ данного случая с тонкою проверкой
удельного веса каждой улики или доказательства,
но вместе с тем отсутствие общих начал и
отвлеченных положений.
А.Ф. Кони

Александр Иванович Урусов (1843-1900 гг.) родился в Москве 2 апреля 1843 года. После окончания московской гимназии поступил на юридический факультет Московского университета

В студенческие годы, параллельно с занятиями юриспруденцией, А. Урусов много времени посвящал изучению изобразительного искусства: посещал музеи, картинные галереи в России и за рубежом, написал ряд статей по искусству.

Во всех публикациях по искусству четко прослеживается его социальная позиция: народ является решающей силой общества; свобода, справедливость, независимость, равенство всех перед законом — необходимые условия прогрессивного развития общества. Именно эти принципы уже в юные годы легли в основу мировоззрения Урусова и именно их он так смело и последовательно будет отстаивать позднее в своей профессиональной деятельности.

Урусов в одинаковой мере известен как талантливый защитник, так и обвинитель. Из обвинительных речей, произнесенных им, широкой известностью пользовались его речи по делу Гулак-Артемовской и по делу Юханцева. Как защитник он стал известен после выступления по делу Марфы Волоховой. А.Ф. Кони вспоминал по поводу этого выступления Урусова: «Посетители Московского суда того времени (1866-1867 гг.) вспомнят, быть может, неслыханный восторг присутствующих после защитительной речи по делу Волоховой, обвинявшейся в убийстве мужа — речи, сломившей силою чувства и тонкостью разбора улик тяжелое и серьезное обвинение».

Вскоре после вступления в адвокатуру он завоевал широкую популярность и пользовался такой же известностью, как и Ф.Н. Плевако.

После рассмотрения известного Нечаевского дела, в котором он выступал качестве защитника Успенского, Урусов, находясь в Швейцарии, ратовал за то, чтобы Нечаева как лицо, обвинявшееся в политическом преступлении, швейцарское правительство не выдавало бы России. За это он поплатился многолетней административной ссылкой.

По возвращении из ссылки Урусов к работе в адвокатуре допущен не был. Лишь спустя несколько лет, после неоднократных просьб, ему вновь удалось стать присяжным поверенным.

Урусов — талантливый судебный оратор. Литературный стиль его речей, произносимых в суде, безупречен. Ум его живой, острый, восприимчивый. Оратор умеет и охотно идет на острую полемику с противниками.

Андреевский назвал его создателем литературного языка защитительной речи. Оценивая его ораторские достоинства, он писал:

«Каждая фраза, сказанная Урусовым, читалась в газетах как новое слово. Он был не из тех адвокатов, которые делаются известными только тогда, когда попадают в громкое дело. Нет, он был из тех, которые самое заурядное дело обращали в знаменитое одним только прикосновением своего таланта. Оригинальный ум, изящное слово, дивный голос, природная ораторская сила, смелый, громкий протест за каждое нарушенное право защиты, пленительная шутливость, тонкое остроумие — все это были такие свойства, перед которыми сразу преклонялись и заурядная публика и самые взыскательные ценители»¹³. Он добивался блестящих успехов по делам, которые давали материал для воздействия на чувства слушателей.

Большую известность приобрел Урусов своими выступлениями как гражданский истец.

В годы реакции — в 80-х годах — во время еврейских погромов он выступал по этой категории в качестве гражданского истца. Несмотря на преследования в печати, его выступления отличались мужеством и принципиальностью, в них он старался пробудить негодование передовой интеллигенции против этого позорного явления. Охотно проводил процессы в защиту лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за религиозные убеждения.

Речи Урусова отличались простотой изложения, последовательностью и ясностью. А.И. Урусов был широко известен не только в Петербурге и Москве, но и на периферии. Нередко его приглашали для участия в процессах, слушающихся за границей.

¹³ С.А. Андреевский *Драмы жизни*. Петроград, 1916. С. 622.

ТИТАН МЫСЛИ И ЧАРОДЕЙ СЛОВА АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КОНИ

Преобладающая сила Кони заключалась в уме —
проницательном, аналитическом, холодном уме,
уме не следователя, а исследователя. Но в этом уме жил
и большой художник, большой артист... Сила и талант
Кони заключались несомненно в живом слове.
Он прежде всего был человек трибуны...
Р.М. Гольдовская

Кто слышал Кони, тот знает, что отличительное
свойство его живой речи — полнейшая гармония
между содержанием и формой.
К.К. Арсеньев

В числе крупнейших прогрессивных юристов, виднейших деятелей культуры России второй половины XIX столетия видное место принадлежало Анатолию Федоровичу Кони. Он был известен как выдающийся судебный деятель, судебный оратор, сенатор, член Государственного совета и т.д. В среде ученых его считали оригинальным мыслителем, одним из ярких представителей гуманитарных наук. Как собрата по перу его принимали деятели литературы. Анатолий Федорович прошел большой жизненный путь. Он начал его как деятель эпохи реформ 60-х годов, а завершил уже в XX столетии. Судьба сделала его свидетелем кровопролитных войн: крымской, русско-турецкой, русско-японской, первой мировой и гражданской. Он стал свидетелем трёх революций. Был одним из активных участников процессов, совершавшихся в государственных структурах, прежде всего в реализации судебных реформ. Вся эта многогранная судебная, общественная, литературная деятельность А.Ф. Кони напрямую обусловлена богатством его интеллекта, уникальностью его познания в ряде важных сфер, его незаурядными природными дарованиями и поразительным упорством в неуклонном пополнении этих познаний. А.Ф. Кони был всегда в курсе последнего слова юридических наук, философии, этики, истории, литературы, языка, ораторского искусства, медицины и т.д. Можно прибавить и математику, к которой он относился с громадным уважением. Вот другой любопытный штрих: судебный деятель, страстно увлекался философским знанием. Он штудировал Канта, называл его «Петром Великим новейшей философии». Также он внимательно изучал труды Шопенгауэра, Гартмана, Н.К. Михайловского, Г.Н. Вырубова, П.А. Лаврова и других представителей зарубежной и отечественной философской мысли. Таким образом Кони отличался необычайно высокой правовой, философской, политической, нравственной, эстетической культурой. И было совершенно не случайно, что несмотря на многие тернии, он с блеском прошел по всем ступеням государственной службы и овладел вершинами духовной культуры. И, конечно же, как человека высочайшей профессиональной, духовной культуры, как гражданина его не удовлетворяло положение дел в обществе: «Как жалка та среда, в которой мы живем! Что это за литература, что за общество! Всюду своекорыстие и вечный

обман». В таком признании обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Сената недвусмысленно выражено его отношение к существовавшему положению вещей. Исповедуя принцип независимости, А.Ф. Кони никогда не принадлежал к каким-либо партиям или политическим группировкам. Тем не менее его социальная, нравственная ориентация во многих случаях просматривалась отчетливо.

На государственную службу А.Ф. Кони был зачислен в 1865 г., при Александре II. Работал по судебному ведомству при Александре III, Николае II. Указом Временного правительства в мае 1917 г. был назначен председательствующим в общем собрании кассационных департаментов Сената, а уволен с должности члена Государственного совета в связи с упразднением этого органа в октябре 1917 года. В годы Советской власти А.Ф. Кони сосредоточивал свое внимание на педагогической, лекторской, писательской деятельности. В целом его трудовой путь длился около 50 лет. То было время общественного подъема в 60-х гг., движения народничества 70-х, время реформ Александра II и «контрреформ» Александра III, Николая II, то было время революций и краха самодержавия.

На всем этом долгом трудовом пути А.Ф. Кони, по выражению К.И. Чуковского, был «бестрепетным судьей-гражданином, который в условиях неправоудного строя грудью бился за праведный суд! И на всем этом пути он неуклонно следовал своему принципу: быть слугою, а не лакеем правосудия». Важно подчеркнуть, что на судебном поприще А.Ф. Кони был врагом механического применения статей закона. Он считал необходимым, неизбежным входить в житейскую обстановку каждого Дела. Он был стражем закона, но стражем человеколюбивым, современники говорили о нем как об идеологе «справедливого права». В судебной и иных сферах А.Ф. Кони всегда искал истину, справедливость. Отсюда благодарное признание со стороны всех слоев российской общественности. А.Ф. Кони служил не власти и моде, а российскому обществу, Отечеству. Много на этом пути, признавался Анатолий Федорович, было промахов, ошибок, донкихотства, «но одно утешает меня: всегда я оставался верен своим принципам, всегда служил не лицами не себе, а делу».

Деятельность А.Ф. Кони и на посту прокурора, и председателя суда, и сенатора, и члена Государственного совета была активной и многогранной, несмотря на то, что протекала она в непростых условиях самодержавного строя и реакции. Были отлучения от должности, как это случилось после процесса по делу В.И. Засулич. Но никто, даже царь, не мог не признать заслуг А.Ф. Кони. Он был награжден орденом Св. Станислава II и I степени, орденом Св. Владимира IV, III, II степени, орденом Св. Анны I степени, орденом Белого орла, а также рядом золотых медалей за успехи в научной деятельности, в изящной словесности от Академии наук. Этот незаурядный человек сумел сохранить принципиальность, честность, преданность интересам народа, а это может быть расценено как высокий гражданский подвиг, мужество, которого не хватало как многим его современникам, так и тем, кому потом было предначертано служить делу правосудия. А.Ф. Кони не раз рисковал карьерой, собственной репутацией в глазах власть предержащих, но оставался неподкупным, верным идеалам

справедливости и гуманизма. А.Ф. Кони с полным основанием мог сказать так, как сказал: «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть... Я любил свой народ, свою страну, служил им, как мог и умел... Я много боролся за свой народ, за то, во что я верил».

Чтобы хотя бы в какой-то степени извлечь из жизни, дела А.Ф. Кони уроки для наших дней, нам необходимо обратить внимание еще на одну специфическую особенность этой личности, этого государственного мужа. Его поразительнейший успех в государственных делах и иных сферах был обусловлен не только его универсальными познаниями. Дело еще в том, что А.Ф. Кони, занимая важнейшие государственные посты, умел быть в то же время человеком редчайшей общительности или, как говорят теперь, редчайшей коммуникабельности, без которой не может быть полноценного государственного политического деятеля. Он обладал исключительной способностью привлекать к себе людей самых различных положений, взглядов. К тому же сам он был всегда желанным гостем, куда бы ни шел, куда бы ни был приглашен. Он являл собой такой притягательный центр, к которому люди тянулись со всех сторон за советом, поддержкой, ободрением, заступничеством, а то и просто за радостью общения с ним. В круг его знакомых, друзей входили люди различных слоев — от знаменитостей до неизвестных людей из провинциального захолустья. А.Ф. Кони был лично знаком с Л.Н. Толстым, И.С. Тургеневым, Ф.М. Достоевским. Он был другом И. Репина, К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко. Он поддерживал тесные связи со многими учеными, журналистами, актерами. Очень много людей шло к нему на прием. Никто не оставался без внимания. В общении он по-своему на других влиял. В то же время обогащался опытом и знаниями других сам. По словам Кони, еще в юности он ощутил влияние юристов А.Д. Градовского, В.Д. Спасовича. О благотворном влиянии на него говорится в его письмах со стороны Л.К. Толстого, Ф.М. Достоевского. В мемуарном и эпистолярном наследии А.Ф. Кони рассказывается о множестве других взаимопользных его контактах.

Нельзя умолчать о замечательном литературном таланте А.Ф. Кони. К писательскому труду он стал тянуться еще в юности. Он охотно посещал литературные вечера, на которых выступали Некрасов, Достоевский, Писемский, Майков, Алтухин и другие. Он очень любил отечественную и зарубежную литературу. Сам же, как литератор, наибольших успехов добился в искусстве литературного портрета, в мемуаристике. Здесь его, пожалуй, можно сопоставить только с одним феноменом — с А.И. Герценом и его великим сочинением «Былое и думы», в котором он дал целую галерею литературных портретов. Опираясь на личное знакомство со многими крупнейшими писателями, публицистами, поэтами, актерами, другими деятелями культуры, А.Ф. Кони создал поистине бессмертные их портреты. Им создано одно из лучших произведений «Лев Николаевич Толстой». До нас дошел его доклад-очерк «Достоевский как криминалист». Им написана серия очерков об И.С. Тургеневе, А.Н. Островском, А.П. Чехове, В.В. Стасове и многих других.

А.Ф. Кони был признанным авторитетом не только в литературной среде, но и в артистическом мире. Он был желанным гостем в петербургской драме и

опере, в Художественном и Малом театрах Москвы. К его голосу прислушивались, дорожили его мнением. Он был в дружеских отношениях с М.Н. Ермоловой, А.И. Сумбатовым-Южным и другими деятелями русского театра. Особенно теплые, дружеские отношения у него сложились с великой русской актрисой Марией Гавриловной Савиной.

Сегодня литературное наследие А.Ф. Кони объединено в собрание его сочинений в восьми томах. Оно было выпущено в 1966-69 гг. тиражом в 70 тысяч экземпляров. Это великая духовная сокровищница нашего народа.

И еще об одной стороне деятельности А.Ф. Кони. Он был прекрасным лектором на профессорской кафедре. Он был увлекательным оратором перед массовой аудиторией. Его выступления по юридической проблематике, по основам этики, литературе собирали множество слушателей. Говорил он емко, логично, выразительно.

А.Ф. Кони принимал активное участие в работе «Института Живого слова», который функционировал в первые годы после Октябрьской революции. Весной 1927 г., читая лекцию в холодном помещении, А.Ф. Кони сильно простудился и тяжело заболел. 17 сентября того же года Анатолий Федорович скончался. Тяжелая утрата острой болью отзывалась у сотен и тысяч почитателей этого одаренного человека.

А.Ф. Кони трудился в трудное, переходное время. Тяжелыми были времена для народа, для России. Спасение великий оратор видел только в одном: «Надо верить в русский народ, надо его любить — без этого жить нельзя», — говорил А.Ф. Кони.

ВЕЛИКОЛЕПЕН В ОБВИНЕНИИ И НЕЗАМЕНИМ В ЗАЩИТЕ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЖУКОВСКИЙ

Он не умел мириться со злом, не знал уступок
в вопросах чести. Но сколько сердечности, сколько
душевной мягкости проявлял он, когда речь шла о людских
слабостях или ошибках, сколько было желания принести
пользу, когда обсуждались вопросы корпоративной жизни....
П.Г. Миронов

Владимир Иванович Жуковский (1836-1899 гг.) окончил юридический факультет Петербургского университета в звании кандидата в 1861 году. В 1862 году поступил на должность судебного следователя в Оренбургской губернии. В последующем работал на различных судебных должностях. В 1870 году назначается товарищем прокурора Петербургского окружного суда. Успешно выступал в качестве обвинителя. Своей речью по нашумевшему в свое время уголовному делу о поджоге мельницы купцом Овсянниковым Жуковский зарекомендовал себя как талантливый оратор.

Современники Жуковского считали его одним из талантливейших обвинителей. Именно в роли обвинителя наиболее полно проявился его дар как судебного оратора. Н.П. Карабчевский писал о Жуковском в день его смерти: «Худощавый, небольшого роста, с слабым, несколько хрипловатым голосом, с острыми линиями профиля, наводившими на мысль о профиле «Мефистофеля» в статуе Антокольского, этот с виду тщедушный и слабый человек проявлял необычайную мощь, как только ему удавалось попасть в свою сферу — сферу судебного обвинителя, язвящего людские грехи и пороки. Еще будучи товарищем прокурора, он составил себе имя первоклассного судебного оратора. Процесс Овсянникова, которого он обвинял в поджоге, упрочил за ним эту славу навсегда»¹⁴.

Однако В.И. Жуковский вынужден был оставить поприще обвинителя. Л.Д. Ляховецкий, учитывая возможности выступления в печати в условиях царской цензуры, с осторожностью писал по поводу ухода Жуковского из прокуратуры: «Отставка Жуковского произошла при тех же условиях, при которых оставил службу по министерству юстиции С.А. Андреевский»¹⁵. Андреевский же, как известно, оставил службу в прокуратуре в связи с отказом от предложения принять на себя функции обвинителя по делу Веры Засулич.

С 1878 г. В.И. Жуковский служил в адвокатуре. Он принимал участие в рассмотрении многих известных уголовных дел в качестве защитника. Однако ближе всего ему были функции представителя гражданского истца, в уголовном процессе, т.е. по-прежнему продолжал обвинять. Бывали, однако, процессы, в которых он был незаменим и в качестве защитника. В делах больших и сложных, где усилия прокуратуры надо было ослабить тонким анализом самой конструкции обвинения «хватившего через край» — он наряду с другими защитниками, выполнявшими иные функции, бывал великолепен и совершенно

¹⁴ Право. Еженедельная юридическая газета. 1899. № 7. С. 351.

¹⁵ Л.Д. Ляховецкий. Характеристика известных русских судебных ораторов. СПб., 1897. С. 111.

незаменим. В подобных случаях он обыкновенно предупреждал своих товарищей: «Ну, вы там защищайте ваших, а я уж буду обвинять ...прокурора». И действительно, его обвинения по адресу прокуроров подчас не менее чувствительны и опасны, чем по адресу подсудимых».¹⁶

Однако и как защитник В.И. Жуковский ярко проявил свои способности и особенности своего таланта. В качестве защитника он выступал почти по всем сенсационным в то время групповым делам, в рассмотрении которых принимали участие наиболее видные профессиональные адвокаты.

Главное в ораторском даровании Жуковского — остроумие и находчивость, которые имели почву в глубоком изучении дела и основательной предварительной подготовке к нему. «В.И. Жуковский — пишет Л.Д. Ляховецкий, — по всей справедливости считался самым остроумным человеком в адвокатской корпорации»¹⁷. «Сарказмы сыпятся у Жуковского непринужденно в речи, произносимой тихо, с виду добродушно. Подобно греческому литографу Гипериду, он не видит той раны, которую причиняют острием своего меча противнику, не слышит стога, исторгнутого из груди несчастного. В.И. Жуковский умеет улавливать комические черты в поступках людских, в нравах, в характерах, комбинировать их в комические картины и передавать их в неподражаемой игривости речи, усиливая ее впечатление соответственными жестами и движениями. «Жа-ла» Жуковского боятся все противники. Бороться с ним доводами трудно. Он легко разрушает сильную аргументацию удачной шуткой, меткой остротой»¹⁸.

Как судебный оратор, Жуковский с исключительным вниманием относился к своим выступлениям. Он их тщательно предварительно продумывал и готовил. Эта большая подготовка к процессу давала ему уверенность в своей позиции, так как детальным знанием дела, в сочетании с находчивостью и остроумием, он мог противостоять любому противнику.

Особенности его красноречия вполне заслуженно принесли ему славу не только на поприще обвинителя, но и гражданского истца и уголовного защитника. В воспоминаниях о Жуковском его современники часто отмечали, что его записанные речи далеко не воспроизводят речей, произнесенных им в суде. Его судебные речи характерны не только умением владеть словом; они составляли неразрывное единство с мимикой, жестикуляцией и иными дополнениями его красноречия, без которых стенограммы его выступлений в суде кажутся нередко либо беспомощными, либо чрезмерно усложненными. Л.Д. Ляховецкий писал об этой особенности ораторского творчества Жуковского: «Он произносил свои речи, словно сидит с вами в веселом обществе за чайным столом, спокойно, без всякой торжественности и приподнятости тона, разговорным языком, в котором жесты самой по себе комической фигурки удачно дополняют и иллюстрируют недосказанное. Центр объяснения с аудиторией оратора, где следует, переносится искусно в движение и жест, а отрывочные слова становятся как бы вспомогательным орудием»¹⁹.

¹⁶ Право. Еженедельная юридическая газета. 1899. № 7. С. 352.

¹⁷ Там же. С. 112.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

Таковы особенности ораторского искусства В.И. Жуковского. Было бы, однако, неполным закончить на этом его характеристику, не указав на то, что ему были свойственны как человеку исключительная сердечность, теплота и внимание к людям, редкостная гуманность, уживавшаяся с жестокостью к порокам и недобродетельности. «...Когда обсуждались вопросы чести, когда речь шла о попорченной правде, писал — о нем П.Г. Миронов, также известный адвокат, — лицо Владимира Ивановича пылало негодованием, а голос звучал гневом»²⁰.

Характерные особенности выступлений Владимира Ивановича Жуковского ярко представлены в двух его речах: в защиту Л.М. Гулак-Артемовской и в защиту Юханцева по обвинению его в растрате сумм Общества взаимного подземельного кредита. Обе эти речи относятся к числу лучших его защитительных речей и весьма наглядно иллюстрируют его как известного судебного оратора.

²⁰ Право. Еженедельная юридическая газета. 1899. № 7. С. 353.

КРУПНЕЙШИЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ АДВОКАТ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ ХАРТУЛАРИ

Константин Федорович Хартулари (1841-1897 гг.) занимал видное место среди крупнейших дореволюционных адвокатов. Тридцать лет жизни он отдал защитительной деятельности. После окончания юридического факультета Петербургского университета он лишь некоторое время работал в Министерстве юстиции. Начиная же с 1868 года и до последнего дня своей жизни, он беспрерывно состоял в рядах присяжных поверенных.

К.Ф. Хартулари за тридцать лет пребывания в адвокатуре накопил богатейший опыт и по праву считался одним из ведущих защитников по уголовным делам.

Для речей Хартулари характерна уравновешенность, внимание к фактам, доказательствам и уликам, деловитость. «Речи К.Ф. Хартулари не блещут драгоценными эффектами выводов, как у Спасовича, — писал о нем один из его современников — они лишены глубокого научного антуража последнего, но производят подчас также сильное впечатление совершенно иными достоинствами — простотой, безыскусственностью, спокойствием, детальной разработкой улик и стремлением оратора к нравственно-педагогическим выводам, долженствующим воздействовать благотворно на весь социальный строй общества»²¹.

Его выступления в суде отличаются обстоятельным и глубоким разбором доказательств, умением найти в деле основные моменты и дать им правильное освещение. Характерная особенность его речей — тщательная отделка, соразмерность частей, глубоко продуманная подача материала. Лучшей его речью является выступление по нашумевшему в свое время уголовному делу по обвинению в убийстве Маргариты Жюжан. Правда, эта речь лишена ярких красок, острой ситуации и глубоких психологических образов. Речь по делу Маргариты Жюжан является образцом делового, глубокого анализа доказательств, строгой последовательности и логичности, что делает ее доходчивой и убедительной. Адвокат не оставил ни одной улики без обстоятельного разбора и тщательного сопоставления с другими доказательствами. В этой речи умело сгруппированы и последовательно изложены все доказательства, подтверждающие невиновность М. Жюжан. Это в значительной мере обеспечило ей оправдательный вердикт.

Однако, говорить о том, что Хартулари не умел рисовать яркие картины и образные ситуации, неправильно. Он был большим педагогом и мог, но не везде и не всегда считал нужным до конца проявлять эту свою способность. Психологический анализ он призывал на помощь лишь тогда, когда считал его необходимым по обстоятельствам дела. Во всех же прочих случаях он считал психологические экскурсы только лишним украшательством выступления, что было ему чуждо. В таком именно плане произнесена Хартулари речь по делу М. Левенштейн.

21 Б. Глинский. Русское судебное красноречие. СПб. С. 34.

Здесь Хартулари показал себя хорошим психологом, внимательным наблюдателем, ярким бытоописателем. С большой глубиной и тактом заглядывает он во внутренний мир преуспевающего купца второй гильдии Линевича и его так называемой «незаконной» жены, от которой у него было двенадцать детей. Ярко, правдиво и трогательно показано психологическое состояние этой женщины, подавленной горем, обрушившимся на ее семью. Трогательно и тепло раскрыл он внутренний мир женщины, оказавшейся в силу социальных условий дореволюционной России перед лицом тяжелой действительности.

В ряде других своих речей он также показал себя хорошим психологом.

Большое внимание К.Ф. Хартулари уделял тому, чтобы сделать речь доступной для восприятия. Он не принадлежал к числу адвокатов, которые предварительно заносили речь на бумагу, но в результате основательной и всесторонней подготовки к процессу добивался четкости языка, хорошего литературного воспроизведения мыслей. Язык и стиль его отчетливы, литературно правильны, грамматически хорошо обработаны. Читаются его речи легко и свободно.

В выступлениях в суде он часто затрагивал общие теоретические вопросы. Причем делал это всегда очень умело и не безотносительно к обстоятельствам дела, а в тесной связи с ними, используя свои рассуждения так же как аргументацию выдвинутых им положений в защиту подсудимого.

За тридцать лет адвокатской деятельности К.Ф. Хартулари выступал по самым разнообразным категориям уголовным дел. И во всех этих делах он добивался успеха. Этому в значительной степени, наряду с большим опытом, помогало ему трудолюбие и упорство. Его успех на адвокатском поприще был обеспечен в значительной степени этими присущими ему качествами. Большую часть своих речей по наиболее громким уголовным процессам К.Ф. Хартулари опубликовал в сборнике «Итоги прошлого».

РЕДКОСТНАЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ТРУДОЛЮБИЕ — ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ НИКОЛАЯ ИОСИФОВИЧА ХОЛЕВА

Николай Иосифович Холев (1858-1899 гг.) родился в г. Керчи Таврической губернии. По окончании в 1877 г. курса местной классической гимназии поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1881 г. он стал помощником присяжного поверенного при Санкт-Петербургской судебной палате, а уже через пять лет начал самостоятельную адвокатскую деятельность.

Широкую известность Н.И. Холев приобрел не сразу. Лишь через несколько лет ему довелось принять участие в одном из крупных процессов, после которого за ним закрепилась репутация крупного и талантливого судебного оратора.

Среди своих коллег по профессии Н.И. Холев отличался сравнительной молодостью и отсутствием жизненного опыта, так необходимого для адвокатской деятельности. Однако недостаток жизненного опыта и наблюдений с успехом восполнялись в его речах присущим ему талантом.

Характерным для Н.И. Холева как адвоката является редкостная добросовестность и исключительное трудолюбие. Он всегда много уделял внимания и времени детальному изучению дела, всех его обстоятельств. Его речи — это плод большого предварительного труда и обстоятельной подготовки к процессу.

В его речах всегда дается обстоятельный анализ и разбор доказательственного материала: для него не существовало мелочей в обстоятельствах дела. Любой факт, играет ли он очень существенное значение или являющийся второстепенным, не ускользал от него. Вследствие этого речи Холева кажутся несколько суховатыми и излишне детализированными. Однако это нельзя отнести к числу недостатков его ораторского творчества.

Речи Н.И. Холева отличаются стройностью и последовательностью. До тех пор пока он не заканчивал всестороннее рассмотрение одного вопроса, он не переключил своего внимания ни на что иное. Он очень тщательно подбирал слова, характеристики, сравнения и умело, с неменьшей тщательностью расставлял все это по записям и стенограммам.

Среди дел, по которым ему приходилось выступать защитником, наиболее крупными были дело об отравлении Н. Максименко и дело о крушении парохода «Владимир».

Речь его по делу Н. Максименко очень хорошо отражает особенности его ораторского дарования. В ней плавно и последовательно показывается развитие всех событий рассматриваемого дела. Анализ доказательств дан всесторонний, исчерпывающий и обстоятельный. Добросовестность его при подготовке к процессу особенно видна в той части речи, где он разбирает заключения экспертов. В речи нет отступлений по вопросам, не имеющим отношения к делу, отсутствуют в ней красивые фразы, эффектные тирады и пр. Тем не менее она читается с большим интересом и поддается сравнительно легкому анализу.

Н.И. Холев вообще не был сторонником насыщения речи яркими красками. Исходя из этого, его современники считали, что ему, как оратору, не присуща эта способность. Однако при чтении его речи по делу о крушении парохода «Владимир» не трудно убедиться в обратном. Здесь можно найти и описание отдельных событий и очень красочное воспроизведение обстоятельств дела. Все это дано в строгой пропорции и в меру. Речь Н.И. Холева по делу о крушении парохода «Владимир» значительно дополняет его характеристику как судебного оратора.

Н.И. Холев занимался также и литературной работой, однако не систематически и не таких размерах, как прочие его коллеги. В молодости он принимал участие в издании некоторых провинциальных журналов и газет. Позже в течение нескольких лет состоял секретарем комиссии по собиранию народных юридических обычаев при этнографическом отделении географического общества. Большую же часть своего времени и способностей он с увлечением отдавал профессиональной адвокатской деятельности.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ТЕОРЕТИК СУДЕБНОГО КРАСНОРЕЧИЯ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ ПОРОХОВЩИКОВ (П. СЕРГЕИЧ)

Слово — великая сила, но надо заметить, что
это союзник, всегда готовый стать предателем
П.С. Пороховщиков

История сохранила немного сведений о жизни Петра Сергеевича Пороховщикова. Родился он в 1867 г. в Петербурге, в обеспеченной дворянской семье, сумевшей дать ему хорошее образование. Сначала он учился в Лицее цесаревича Николая, а затем поступил на юридическое отделение Московского университета. С декабря 1889 г. в течение года служил по ведомству Министерства юстиции кандидатом на судебные должности, а потом был определен на место «и.д. Помощника секретаря при прокуроре Московской судебной палаты». Несколько лет Пороховщиков состоял на различных канцелярских должностях — старшего помощника делопроизводителя государственной канцелярии, младшего делопроизводителя, члена хозяйственного комитета канцелярии. Первый самостоятельный пост П.С. Пороховщиков получил в августе 1894 г., когда его назначили товарищем прокурора Смоленского окружного суда. Через год способного и хорошо проявившего себя на службе П.С. Пороховщикова перевели товарищем прокурора Московского окружного суда. Затем он работал прокурором Орловского окружного суда и в такой же должности в Харькове. Вплоть до 1917 г. П.С. Пороховщиков состоял членом Петербургского, а затем Петроградского окружного суда, имел чин действительного статского советника.

П.С. Пороховщикова (П. Сергеевича) по праву считали одним из самых просвещенных юристов своего времени, тонким психологом, восприимчивым и чутким наблюдателем, выдающимся теоретиком судебного красноречия и даже... поэтом.

В 1908 г. в Санкт-Петербурге вышла его важная в практическом и теоретическом отношении книга «Уголовная защита» (в 1913 году она была переиздана). «Задача этих заметок, — писал автор, — сводится к тому, чтобы защита ... не оставалась бесплодной... Уголовная защита не легкое и в нравственном отношении высоко ответственное дело. Тот, кто избрал ее своим служением жизни, должен проникнуться убеждением, что совершает нравственное преступление всякий раз, когда, взявшись за дело, не сделал для подсудимого всего, что было в силах и власти его. Если он усвоит себе это убеждение, если будет гореть этой мыслью, он достигнет многого; если нет, он, пожалуй, будет произносить умные, интересные и красивые речи, добьется известности и накопит денег; но он не найдет нравственного удовлетворения в своей работе; в конце жизненного пути рассудок скажет ему: ты хорошо говорил, но сердце не кликает: ты совершил подвиг».

Для понимания самой сути «Уголовной защиты» очень важно следующее замечание Пороховщикова: «Настоящие заметки имеют скромную цель: в них нет ни откровения о том, как сделаться блестящим оратором, ни верного средства выигрывать громкие процессы»...

Другим знаменитым теоретическим трудом П.С. Пороховщикова стала его книга «Искусство речи на суде».

По справедливому замечанию А.Ф. Кони можно не соглашаться с некоторыми из положений и советов автора этой книги, но нельзя не признать за ней большого значения для тех, кто интересуется судебным красноречием как предметом изучения, или как орудием своей деятельности, или, наконец, как показателем общественного развития в данное время. Сила судебной речи всегда высоко ценилась передовыми людьми всех времен. Искусство красноречия — часть культуры народа, судебная трибуна — средство огромного идеологического, нравственного и правового воздействия. Именно поэтому к судебным ораторам предъявляются самые высокие требования.

П.С. Пороховщиков подчеркивает, что на суде нужна прежде всего необыкновенная, исключительная ясность. Слушатели должны понимать без усилий. Оратор может рассчитывать на их воображение, но не на их ум и проницательность. А потому не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья.

На пути к такому совершенству стоят два внешних условия: чистота и точность слога и два внутренних — знание предмета и знание языка. Как заклинание современникам и потомкам звучит требование Пороховщикова, чтобы в отношении чистоты своей речи оратор был неумолим. Заботясь о точности выражений нельзя допускать никакой неряшливости, в особенности недопустимо злоупотреблять иностранными словами. Огромное большинство этих «незваных гостей» совсем не нужны нам, потому что есть русские слова того же значения, простые и точные.

Неряшливость речи, продолжает автор, доходит до того, что образованные люди, нимало не стесняясь и не замечая того, употребляют рядом слова, не соответствующие одно другому и даже прямо исключаящие друг друга. Так, прокурор полагает, что «факт можно считать более или менее установленным». Говорят: «прежняя судимость обвиняемого уже служит для него большим отрицательным минусом» и т.д.

Пороховщиков советует хорошо запомнить следующее: одно неудачное выражение может извратить мысль, сделать трогательное смешным, значительное лишить содержания. И приводит такой пример: «Если вы пожелаете сойти со своего пьедестала судей и быть людьми — говорит прокурор, — вам придется оправдать Кириллову по соображениям другого порядка...» Разве судья не человек?

Речь должна быть коротка и содержательна, словами оратора должен руководить здравый смысл, нельзя говорить небылиц и бессмыслиц. На этот счет в памяти у П.С. Пороховщикова отложился довольно любопытный и поучительный случай, который не мешало бы запомнить иным судебным ораторам. Казалось бы, ни один обвинитель не станет намеренно ослаблять поддерживаемого им обвинения. Однако товарищ прокурора обращается к присяжным с таким заявлением: «Настоящее дело темное; с одной стороны, подсудимый утверждает, что совершенно непричастен к краже; с другой — трое свидетелей удостоверяют, что он был задержан на месте преступления с

поличным». «Если при таких уликах дело называется темным, то что же можно назвать ясным?» — задаётся вопросом Пороховщиков. В его книге и современный судебный оратор найдет для себя много полезных и интересных советов:

«Соблюдайте уважение к достоинству лиц, выступающих в процессе... Избегайте предположений о самом себе и о присяжных... Не допускайте, чтобы резкость переходила в грубость, но помните и другое: ненужная вежливость также может резать ухо и, хуже того, может быть смешна... Говорите просто, но вместе с тем выразительно и изящно... Не думайте на трибуне о словах; они должны сами являться в нужном порядке. Помните: непринужденность, свобода, даже некоторая небрежность слога — его достоинства; старательность, изысканность — его недостатки... Знайте цену словам, помните, что одно простое слово может иногда выражать все существо дела с точки зрения обвинения или защиты; один удачный эпитет иной раз стоит целой характеристики... Уясните себе, что простота есть лучшее украшение слога, но не речи. Мало говорить просто, ибо недостаточно, чтобы слушатели понимали речь оратора; надо, чтобы она подчинила их себе... Не скупитесь на метафоры, чем больше их, тем лучше; но над употреблять или настолько привычные для всех, что они уже стали незаметными, или новые, своеобразные, неожиданные... Не оставляйте не выясненным до конца, до тонкостей ничего значительного; уделяйте величайшее внимание разъяснению фактов и разбору улик, даже самых мелких... Учтите, неверно взятый тон может погубить целую речь или испортить ее отдельные части.»²²...

Существенное внимание Пороховщиков уделял и общему плану речи, и композиционной ее организации, обуславливающей «логику изложения», «логическое движение мысли» (не путать, предостерегает П. Сергеич с «логикой предмета» или «логикой факта»).

Логическая правильность — одна из необходимейших предпосылок для овладения искусством речи.

Задача судебного оратора состоит не в том, чтобы построить силлогизм или вывести правильное заключение из посылок, это слишком просто. Главное — обосновать, развернуть посылки. Вот как отделяет П.С. Пороховщиков логическую схему поиска истины от логической («боевой») схемы изложения: «Изучив предварительное следствие указанным образом, то есть уяснив себе факты, насколько возможно, и внимательно обдумав их с разных точек зрения, всякий убедиться, что общее содержание речи уже определилось. Выяснилось главное положение и те, из которых оно должно быть выведено; выяснилось и логическая схема обвинения или защиты, и боевая схема речи; чтобы точно установить последнюю, стоит только сократить первую, исключив из нее те положения, которые не требуют ни доказательств, ни развития, те, которые останутся, образуют настоящий план речи».

22 Искусство речи на суде. М., 1960.

В подтверждение сказанному П.С. Пороховщиков дает такую иллюстрацию: «Предположим, что подсудимый обвиняется в ложном доносе. Логическая схема обвинения такова:

- донос был обращен к подлежащей власти;
- в нем заключалось указание на определенное преступление;
- это указание было ложно;
- донос был сделан подсудимым;
- он был сделан с целью навлечь подозрение на потерпевшего.

Если каждое из этих положений допускает спор, все они войдут в боевую схему обвинения и каждое положение составит предмет особого раздела речи. Если состав преступления установлен бесспорно и в деле нет других существенных сомнений, например предположения о законной причине невменяемости, вся речь может быть ограничена одним основным положением; донос сделан подсудимым. Если защитник признает, что каждое из положений логической схемы обвинения хотя и не доказано вполне, но подтверждается серьезными уликами, он должен опровергнуть каждое из них, то есть доказать столько же противоположных положений, и каждое из них войдет в боевую схему речи; в противном случае — только те, которые допускают спор»²³.

В произведении Пороховщикова содержится ряд и других весьма полезных для судебных ораторов, особенно начинающих, рекомендаций. Они относятся и к структурной, и к выразительной, и к стилистической организации речи:

«Необходимо отметить особенность, составляющую существенное отличие судебного спора от научного. Наука свободна в выборе своих средств; ученый считает свою работу законченной только тогда, когда его выводы подтверждены безусловными доказательствами; но он не обязан найти решение своих научной загадки; если у него не хватает средств исследования или отказывается дальше работать голова, он забросит свои чертежи и вычисления и займется другими. Истина останется в подозрении, и человечество будет ждать, пока не найдется более счастливый искатель. Не то в суде; там нет произвольной отсрочки. Виновен или нет? Ответить надо»²⁴.

Кроме хорошо известных и глубоких в практическом и теоретическом отношениях работах «Уголовная защита» и «Искусство речи на суде», следует отметить и ряд статей П.С. Пороховщикова в периодической печати. Назовем прежде всего статью «Первое предупреждение» (Право. 1909. № 14.), в которой автор с возмущением писал о недобросовестном отношении к делу большинства защитников, работающих только за гонорар и игнорирующих интересы своих подзащитных, если они не обладают солидным преимущественным состоянием. С глубокой болью П.С. Пороховщиков писал и о защитниках, равнодушных к участи тех, кого они защищали, не пытавшихся даже вникнуть в обстановку преступления, не желавших проникнуть в душу своего клиента, заглянуть в его сердце, а нередко даже не позаботившихся подробно и серьезно

²³ Там же.

²⁴ Там же.

изучить следственное дело. Особенно его возмущали молодые холодные защитники, только отбывавшие «назначенный им номер и не более», являвшиеся в суд лишь для «практики». Он считал неправильным, когда к защите допускали молодых, только что выпущенных юристов, и прямо об этом писал в статье «Стаж и уголовная защита» (Право. 1911. № 21). П.С. Пороховщиков не раз подчеркивал, что ошибки неизбежны во всяком начале, но их должно быть как можно меньше во всяком деле; в уголовной защите — менее, чем где-либо, ибо там каждая ошибка тяжело отражается на живых людях.

Надо отметить, что П.С. Пороховщиков в своих статьях и книгах выступал, как правило, защитником прогрессивной судебной реформы 1864 года, которая ввела суд присяжных, основанный на принципах гласности. Вместе с тем он высказывал и ряд серьезных критических замечаний в отношении тех или иных институтов судопроизводства, в частности, критиковал кассационную практику сената.

СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ XIX СТОЛЕТИЯ В КРИТИЧЕСКИХ ОЦЕНКАХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Живое слово судебных ораторов второй половины XIX столетия постоянно находилось в поле зрения российской общественности. Есть свидетельство о том, что залы судебных заседаний многих процессов были переполнены публикой. Среди посетителей бывали и государственные деятели, и представители прессы, актеры, писатели.

Большой интерес к работе судебных деятелей проявляли Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и многие другие писатели.

М.Е. Салтыков-Щедрин в десятках своих сатирических произведений в той или иной степени касается деятельности российских судов, прокуратуры, адвокатуры.

В произведениях «В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия» писатель создал яркий образ типичного для российской действительности того времени беспринципного буржуазного адвоката — наживалы Балалайкина, который соединил в себе бойкое красноречие с продажностью и готовностью на какие угодно сделки.

В третьей главе книги «В среде умеренности и аккуратности» М.Е. Салтыков-Щедрин пишет: «Балалайкин, адвокат... не то выжига, не то пустослов... скорее пустослов, потому что отец его все на водевильных куплетах воспитывал».

Если суммировать все сказанное о Балалайкине, то перед читателями рельефно возникает резко отрицательный тип продажного, лживого адвоката, пустослова. Щедрин многократно высмеивал и обличал фразистость судебного красноречия, его наигранность, искусственность риторических украшений. Он последовательно развенчивал краснобайство судебных чиновников различных рангов и мастей, подвергал осмеянию всех «героев судоговорения».

Например, М.Е. Салтыков-Щедрин демонстрирует в «Господах ташкентцах» «цветы» судебной риторики. Обвинитель призывает присяжных: «Такова, милостивые государи, фабула преступления. Спустимся же с факелом правосудия в дебри преступления и постараемся осветить их». У его же противника образ факела и дебрей перефразируется так: «Я со своей стороны постараюсь с тем же факелом опуститься в дебри обвинения и водрузить знамя освобождения на развалинах невинности».

В очерках «За рубежом» (гл. 3) сатирик говорит о «скорпионах» — судебных и административных, о чиновниках-казнокрадах и взяточниках.

Главу V своих «Недоконченных бесед» Салтыков-Щедрин посвятил одной из речей В.Д. Спасовича. В ней, пересекая одна другую, сцепляются нитями уголовного процесса Кронеберга три темы: одна — об общественно-бытовых, социальных основах и судопроизводстве этого дела как типических явлениях современной действительности, другая — о компромиссе как оси мира и третья — об адвокатуре и литературе. Все темы развиваются в отрицательном, следовательно, ироническом и сатирическом плане. «Внутренней формой»

адвокатской профессии делается понятие ремесла. Ссылкой на классическую страну адвокатов — Францию — доказывается, что адвокат-ремесленник, для которого существенны не вопросы жизни, а «ловкое обращение со статьями закона», «точно так же, как в некоторых ремеслах главную роль играет ловкое обращение с иглою, шилом, заступом и т.д.» (с. 503). «Литература служит обществу, адвокатура — клиенту». Правда, и литератор, и адвокат обладают одним и тем же орудием для достижения своих целей — словом. Этим орудием Щедрин и наносит самый больной удар адвокатури, намекая на особые функции слова в адвокатской практике: «А что касается общего орудия — слова, то ведь оно раздается и на Сенной».

С некоторыми адвокатами своего времени М.Е. Салтыков-Щедрин обменивался письмами (см., например, его письма к А.И. Урусову).

Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 г. дал блестящий анализ речи В.Д. Спасовича по делу Кронеберга. Писатель разоблачил приемы ее построения, создав апологию ребенка, подвергавшегося со стороны отца истязаниям.

В уста Нехлюдова, героя «Воскресенья», Лев Толстой вкладывает такую оценку современного ему суда: «Суд ...есть только административное орудие для поддержания существующего порядка вещей, выгодного нашему сословию».

Л.Н. Толстой, изображая картину царского суда, воспроизвел в речи товарища прокурора, обвинявшего Маслову («Воскресенье»), многие элементы и наукообразного языка судебных ораторов:

«В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости.

Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ламброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство».

См. из речи обвинителя (относительно Маловой):

«Женщина эта, — говорит товарищ прокурора, не глядя на нее, — получила образование, — мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски, она, сирота, вероятно, несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом; но она бросает своих благодетелей, предается страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от своих товарок своим образованием, и, главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным и, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко — богатым гостем, и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни.

Ну, уже это он, кажется, зарапортовался, — сказал, улыбаясь, председатель, склоняясь к строгому члену. — Ужасный болван, — сказал строгий член».

Сцены суда в романе Л.Н. Толстого «Воскресенье» играют как бы двойную роль: они с громадной силой реализма характеризуют суд как насквозь лживое и лицемерное учреждение, а с другой стороны, приобретают для одного из главных персонажей романа — Нехлюдова некое символическое значение: суд как бы символизирует преступность жизни его собственной и его класса. Приговором суда определяется путь Масловой. Решением жениться на Масловой определил свой путь и Нехлюдов.

Фразерство и неестественность речи некоторой части судебных деятелей XIX века в значительной степени объяснялись влиянием цветистого красноречия некоторых французских адвокатов. Например, известный русский судебный деятель Н.П. Карабчевский иронически указывает в статье «Французский адвокат XVIII столетия», что «адвокат Жердые нашел возможным публично изобличать обвиняемого в том, что будучи пяти лет от роду, он больно ударил лакея»²⁵.

Скептически описывает тип французского обвинителя-фразера и Кони:

«Я беру его со времени рождения; имея год от роду, он укусил свою кормилицу; двух лет он показал язык своей матери; трех лет украл два куса из сахарницы своего деда; четырех лет таскал яблоки из чужого сада. И если негодяй в пять лет от роду не сделался отцеубийцей, то лишь потому, что имел счастье быть сиротой!»²⁶. По заключению А.Ф. Кони, такая фразистость обеспечивала дешевый успех и легкую карьеру.

Эти элементы цветисто-фразерской речи на русской почве, как правило, не прививались. По свидетельству А.Ф. Кони, русские судебные ораторы в преобладающем большинстве не были «слепыми подражателями западным образцам, а шли своей дорогой. Они доказали, что вся искусственность и наигранность западных ораторов «не подходит к природе русского человека, которому чужда приподнятая фразеология».

Стремление найти новые приемы и средства выражения приводили некоторых ораторов к наукообразности языка, что в ряде случаев производило комическое впечатление. А.Ф. Кони приводит такое определение драки, данное молодым адвокатом с научно-философской и юридической точек зрения:

«Драка, господа присяжные заседатели, есть такое состояние, субъект которого, выходя из границ дозволенного, совершает вторжение в область охраняемых государством объективных прав личности, стремясь нарушить целостность ее физических повторным нарушением таковых прав. Если одного из этих элементов нет налицо, то мы не имеем юридического основания видеть во взаимной коллизии субстанцию драки»²⁷. Емкая критическая оценка российского красноречия у А.П. Чехова содержится в его статье «Хорошая новость». Здесь он неоднократно касается состояния судебного красноречия в России.

Уместно привести здесь краткую заметку А.П. Чехова целиком.

«В Московском университете с конца прошлого года преподается студентам декламация, т.е. искусство говорить красиво и выразительно. Нельзя не по-

25 Карабчевский Н.П. Около правосудия. Изд.2. СПб., 1908. С.102.

26 Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 1-5. СПб., 1913. С. 100.

27 Там же. С. 111.

радоваться этому прекрасному нововведению. Мы, русские люди, любим говорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном загоне. В земских собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно, тускло, «уткнув брады», не зная, куда девать руки; нам говорят слово, а мы в ответ — десять, потому что не умеем говорить коротко и незнакомы с той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект. (Немного по количеству, но многое по содержанию).

У нас много присяжных поверенных, прокуроров, профессоров, проповедников, в которых по существу их профессий должно бы предполагать ораторскую жилку, у нас много учреждений, которые называются «говорильными», потому что в них по обязанностям службы много и долго говорят, но у нас совсем нет людей, умеющих выражать свои мысли коротко и просто.

В обеих столицах насчитывают всего-навсего настоящих ораторов пять-шесть, а о провинциальных златоустах что-то не слыхать. На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и понимать, только приспособившись к ним, на литературных вечерах допускается читать даже очень плохо, так как публика давно уже привыкла к этому, и, когда, читает свои стихи какой-нибудь поэт, то она не слушает, а только смотрит.

Ходит анекдот про некоего капитана, который будто бы, когда его товарища опускали в могилу, собирался прочесть длинную речь, но выговорил: «Будь здоров!», крикнул и больше ничего не сказал.

Нечто подобное рассказывают про почтенного В.В. Стасова, который несколько лет назад в клубе художников, желая прочесть лекцию, минут пять изображал из себя молчаливую, смущенную статую, постоял на крыльце, помялся, да с тем и ушел, не сказав ни одного слова.

А сколько анекдотов можно было бы рассказать про адвокатов, вызывавших свои косноязычием смех даже у подсудимого, про жрецов науки, которые «изводили» своих слушателей и в конце концов возбуждали к науке полнейшее отвращение.

Мы люди бесстрастные, скучные, в наших жилах давно уже запеклась кровь от скуки. Мы не гоняемся за наслаждениями и не ищем их, и нас поэтому нисколько не тревожит, что мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку. Но если не хочется наслаждаться, то по крайней мере не мешало бы вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом.

В обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, ханжество слова или пошлое краснобайство. И в древности и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры.

Немыслимо, чтобы проповедник новой религии не был в то же время и увлекательным оратором. Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. «Цветами» красноречия был усыпан путь ко всякой карьере, и искусство говорить считалось обязательным. Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица,

обязанные по службе говорить не только учено, но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что они «не умеют» говорить. В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным. В этом отношении почин Московского университета является серьезным шагом вперед»²⁸. Из приведенной заметки А.П. Чехова видим, что писатель, наряду с другими профессионалами, особенно подвергает резкой критике судебной деятелей, в частности, адвокатов, прокуроров, присяжных заседателей.

Уместно отметить, что А.П. Чехов с интересом следил за успехами лучших судебных ораторов и одобрительно отзывался о них.

Так, в письме к Андреевскому (21 декабря 1891 г.) он сообщал: «Для меня речи таких юристов, как Вы, Кони и др., представляют двоякий интерес: в них я ищу, во-первых, художественных достоинств, искусства, и, во-вторых, того, что имеет научное или судебно-практическое значение. Ваша речь по поводу юнкера, убившего своего товарища, это — вещь удивительная по грациозности, простоте и картинности: люди живые, и я даже дно оврага вижу»²⁹.

Контроль писателей и всей общественности за языком судебных деятелей оказывал благотворное влияние на состояние и развитие судебного красноречия. К примеру, речи и статьи прогрессивного судебного деятеля А.Ф. Кони полны цитат из произведений лучших писателей, афоризмов, а также оборотов речи, отличающихся новизной и образностью: «Сомнения бывали... разрушены, и на развалинах их возникало твердое убеждение в виновности»³⁰; «Зачем было топиться Лукерье в Ждановке, когда в десяти шагах течет Нева, которая не часто отдает жизни тех, кто пойдет искать утешения в ее глубоких и холодных струях».³¹ «А счастье было так возможно, так близко», — цитирует он Пушкина³², Некрасова: «Ликует враг — молчит в недоуменье друг, поникнув головой»³³.

Профессор А.И. Ефимов отмечает, что стремление украсить речь судебного деятеля, сочетать яркие и образные выражения с сухими, официально-деловыми статьями и определениями, которые приходилось цитировать из свода законов, уголовного кодекса, безусловно, не всегда удавалось. Все это давало основание писателям, внимательно следившим за развитием судебного красноречия, пародировать стиль и фразеологию адвокатов, снижающих, а не повышающих культуру публичной речи.³⁴

Живое слово судебных ораторов, начавшиеся, по выражению М.Е. Салтыкова-Щедрина, «обвинительно-защитительные турниры» — полемика сторон и порой блестящие речи талантливых судебных деятелей: Кони, Спасовича, Карабчевского, Жуковского, Плевако, Андреевского и других — все это вызвало

28 Чехов А.П. Соч. Т. VIII. М., 1953. С. 499-501.

29 Чехов А.П. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 299-300.

30 Кони А.Ф. На жизненном пути. СПб., 1913. С. 133.

31 Кони А.Ф. Судебные речи. СПб., 1905. С. 16.

32 Кони А.Ф. На жизненном пути. С. 97.

33 Там же. С. 113.

34 Ефимов А.И. История русского литературного языка. М., 1961.

большой интерес общественности. Залы судебных заседаний во время некоторых процессов (например, дело миллионера Овсянникова и др.) были переполнены. Среди посетителей бывали представители прессы, литературы (М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский), театра.

История судебного красноречия – отмечал проф. А.И. Ефимов, – знает немало исканий и попыток улучшить публичные выступления, придать им живость, силу и остроту.

Как правило, основным источником и материалом, откуда черпали судебные ораторы яркие и образные речевые средства, была художественная литература.

По справедливому замечанию Н.А. Троицкого, «корифеи отечественной адвокатуры, рыцари «слова живого, свободного» были выдающимися дебатами, умными и тонкими аналитиками ситуаций и отличались быстротой мышления, находчивостью, умением раскрывать противоречия в документах, отделяя главное от второстепенного. Их выступления подчинялись безукоризненной логике, были доказательными и прекрасно выстроенными и восхищали Тургенева, Тютчева, Плещеева, Горчакова...»³⁵.

³⁵ Троицкий А.Н. Корифеи российской адвокатуры. М., 2006. С.5.

К ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Различаясь по характеру, темпераменту, внешним данным, силе ораторского дарования судебные ораторы XIX- н. XX вв. создали то, что по меткому определению А.Н. Троицкого можно назвать «феноменом русского судебного красноречия».³⁶ Главными достоинствами его стали искренность и простота, выгодно отличавшие русских от «от французских и итальянских ораторов, «мысли которых часто исчезают в потоке слов, красивых фраз и риторических украшений всякого рода» и «от неуклюжести и сухости, превращающих их речь в длинные и скучные реляции по делу, какими часто бывают, например, речи немецких адвокатов»³⁷.

«Русский судебный оратор, наиболее близкий к идеалу русского судебного красноречия, — отмечает К.К. Арсеньев, — не становится на ходули, не надевает на себя трагическую маску, не гоняется за эффектами, невысоко ценит громкие, трескучие фразы. Он ...обращается больше к здравому смыслу, чем к фантазии присяжных; ему случается, конечно, апеллировать к их чувству, но не к чувствительности. Он не чуждается украшений речи, но не в них ищет и находит главный источник силы. Он никогда не говорит только для публики, никогда не забывает о деле, к разъяснению которого он призван, никогда не упускает из виду, что от его слов зависит, в большей или меньшей степени, судьба человека».³⁸ Убежденность в том, что содержание судебной речи должно быть предельно ясно и понятно разделяет и П.С. Пороховщиков: «В чем заключается ближайшая, непосредственная цель всякой судебной речи? В том, чтобы ее поняли те, к кому она обращена. ...Каждое слово оратора должно быть понимаемо слушателями совершенно так, как понимает он... Красота и живость речи уместны не всегда: можно ли щеголять изяществом слога, говоря о результатах медицинского мертвого тела или блистать красивыми выражениями, передавая содержание гражданской сделки? Но быть не вполне понятным в таких случаях значит говорить на воздух. Но мало сказать: нужна ясная речь; на суде нужна необыкновенная, исключительная ясность. Слушатели должны понимать без усилий. Оратор может рассчитывать на их воображение, но не на их ум и проницательность. Поняв его, они поймут дальше; но поняв не вполне, попадут в тупик или забредут в сторону... Не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья».³⁹ Как отмечается в книге Л.К. Граудиной «Теория и практика русского красноречия»⁴⁰, «эта главная задача, которая стоит перед судебными ораторами, осуществляется благодаря знанию существа излагаемого и владению законами языкового употребления. Знание предмета и знание языка — вот первое и основное требование судебного красноречия. Адекватность происходящему, содержательная правильность и верность в значительной

36 Там же. С. 406.

37 Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. СПб., 1875.

38 Там же.

39 Пороховщиков П.С. Искусство речи на суде. М., 1960.

40 Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. М., 1989.

степени достигаются соблюдением судебным оратором законов логического развертывания событийного содержания. Подчинение законам логики должно быть в основе как общего строения речи, так и отдельных ее частей, разделов. Логическая и языковая правильность — это необходимая предпосылка для овладения искусством речи». Главная задача при этом — обоснование и раскрытие посылок, которые и создают логический каркас речи.

Успех хорошей речи определяет также знание и соблюдение оратором законов родного языка. «Нужно хорошо знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью, богатством и своеобразными оборотами, — писал один из главных деятелей той эпохи А.Ф. Кони. — Пусть не мысль ваша ищет слова и в этих поисках теряет и утомляет слушателей, пусть, напротив, слова покорно и услужливо предстанут перед вашей мыслью в полном ее распоряжении»⁴¹. Владение законами языкового употребления предполагает соблюдение «чистоты и точности» слога.

Понятию чистоты речи противоречит, в первую очередь, употребление ненужных иностранных слов. Теоретики судебного красноречия резко осуждают злоупотребление иностранными словами. «Огромное большинство этих незванных гостей совсем не нужны нам, потому что есть русские слова того же значения, простые и точные. Даже получившие широкое распространение в газетной речи иностранные слова рекомендуются в судебной речи не употреблять, а заменить их описательными оборотами. Иностранные фразы в судебной речи также недопустимы; это — «такой же сор, как иностранные слова». Рекомендация П.С. Пороховщикова — яркий, эмоциональный, совершенно определенный призыв. «Вы говорите перед русским судом, а не перед римлянами или западными европейцами. Щеголяйте французскими поговорками и латинскими цитатами в ваших книгах, в ученых собраниях, перед светскими женщинами, но в суде — ни единого слова на чужом языке».⁴²

Чистоте речи противоречит употребление ненужных, вставных слов, использование которых не может быть оправданным. Не может быть оправдано и употребление бессмысленных междометий и ненужных вводных предложений.

Грамматические ошибки, ошибки в словоупотреблении, в построении фраз, включение в речь неупотребительных или искаженных слов, неправильные ударения нарушают чистоту речи, затрудняют восприятие ее содержания.

Обязательным свойством судебной речи должно быть богатство слов. Судебный деятель в своих речах должен свободно пользоваться «всеми современными словами своего языка, за исключением специальных научных или технических терминов». Небрежность к словам в судебной речи недопустима. В то же время чрезвычайно важно в выборе слов соблюдать чувство меры, ибо «старательный подбор слов на трибуне выдает искусственность речи, когда нужна ее непосредственность. Напротив, в обыкновенном разговоре изысканный слог выражает уважение к самому себе и внимание к собеседнику».⁴³ Судебный оратор должен постоянно наращивать запас слов, которым он пользуется

41 Кони А.Ф. Приемы и задачи обвинения. // Избр. произведения. М., 1956, С.65-67.

42 Там же. С.37.

43 Там же. С.42.

ся, черпать их из самых различных источников — из текстов лучших писателей, из живой народной речи и включать их в свое активное употребление.

В теории судебного красноречия особая роль отводится так называемой категории пристойности. Категория пристойности — это весьма широкое требование соблюдения чувства меры, соответствия общей содержательной направленности текста и выбора используемых лексических и стилистических средств.

Судебное красноречие ставит три задачи, которые определяют выполнение этой цели: судебный оратор должен пленить, доказать и убедить, т.е. создать определенную эмоциональную атмосферу. Речь, лишенная взволнованности, страстности, холодна и рассудочна, она не может убедить, не может заставить поверить. Созданию нужной оратору определенной эмоциональной психологической атмосферы служит использование традиционных образных риторических приемов — использование тропов и риторических фигур.

Сильной стороной русских судебных ораторов можно считать также их широкую образованность, вооруженность разносторонними общественно-политическими, естественно-научными, литературно-художественными познаниями.

«Богатые талантом и опытом, сильные характером, — пишет в своей книге «Корифеи российской адвокатуры» А.Н. Троицкий, — лучшие адвокаты России к тому же неустанно заботились о своей нравственной репутации, понимая, что «авторитет есть нечто цельное, как заговор: если в одном пункте его провалить, он провалится и во всей своей цельности»⁴⁴.

Блестящие судебные ораторы П.А. Александров, С.А. Андреевский, К.К. Арсеньев, Н.П. Карабчевский, В.Д. Спасович, А.И. Урусов — были людьми высокого нравственного долга, истинными патриотами. Именно их личной заслугой следует считать создание тех высочайших нравственно-идейных начал, которые стали основой русского судебного красноречия, его отличительной характеристикой. Это — «широта гуманистического общественно-философского подхода к рассматриваемым фактам», «внимание и уважение к человеку», высочайший профессиональный уровень, мастерское владение искусством слова

Нельзя не согласиться со справедливым утверждением Л.К. Граудиной, что речи выдающихся судебных ораторов «обладали огромной силой воздействия, приковывали внимание широкой общественности. Поэтому одной из главных целей риторического образования сегодня является изучение и возрождение традиций школы русского судебного красноречия, осознание ценности отечественного риторического идеала»⁴⁵.

44 Спасович В.Д. Соч. СПб., 1894. Т. 6. С. 196.

45 Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. М., 1989.

ХРЕСТОМАТИЯ

РЕЧЬ П.А. АЛЕКСАНДРОВА В ЗАЩИТУ ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ (в извлечении)

Краткий комментарий к речи.

Вера Ивановна Засулич обвинялась в покушении на убийство Петербургского градоначальника генерала Трепова, совершенного ею путем выстрела из пистолета 24 января 1878 г. Обвинительной властью преступление Засулич квалифицировалось как умышленное, с заранее обдуманном намерением.

Истинным мотивом этого преступления было возмущение Засулич незаконными действиями генерала Трепова, отдавшего распоряжение высесть розгами содержащегося в доме предварительного заключения политического подследственного Боголюбова. Поступок Трепова широко обсуждался в печати и различных общественных кругах. Наиболее передовые из них оценивали этот поступок как жестокий акт насилия, произвола и надругания над человеческой личностью, несовместимый с принципами гуманности. Выстрел В. Засулич и прозвучал как выражение протеста против действий генерала Трепова со стороны прогрессивной общественности.

При рассмотрении дела Засулич царская юстиция предложила обвинителям не давать в речи оценки действий Трепова. Однако не только оценка действий Трепова, но и горячее осуждение вообще применения телесных наказаний были блестяще даны в речи П.А. Александра, защищавшего Веру Засулич.

Дело рассматривалось Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей 31 марта 1878 г.

Господа присяжные заседатели!

Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но тем не менее задача моя после речи господина прокурора не оказалась облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?

Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связывается, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведенного В. Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения.

Чтобы вполне судить о мотиве наших поступков, надо знать, как эти мотивы отразились в наших понятиях. Таким образом, в моем суждении о событии 13 июля не будет обсуждения действий должностного лица, а только разъяснение того, как отразилось это событие на уме и убеждениях Веры Засулич. ...Являясь защитником В. Засулич, по ее собственному избранию, выслушав от нее, в моих беседах с нею, многое, что она находила нужным передать мне, я невольно впадаю в опасение не быть полным выразителем ее мнения и упустить что-либо, что, по взгляду самой подсудимой, может иметь значение для ее дела.

Я мог бы теперь начать просто со случая 13 июля, он нужно прежде исследовать почву, которая обусловила связь между 13 июля и 24 января. Эта связь лежит во всем прошедшем, во всей жизни В. Засулич. Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно рассмотреть ее не только для интересов настоящего дела, не только для того, чтобы определить, в какой степени виновна В. Засулич, но ее прошедшее поучительно и для извлечения из него других материалов, нужных и полезных для разрешения таких вопросов, которые выходят из пределов суда: для изучения той почвы, которая у нас нередко производит преступление и преступников. Вам сообщены уже о В. Засулич некоторые биографические данные; они не длинные, и мне придется остановиться только остановиться только на некоторых из них.

Вы помните, что с семнадцати лет, по окончании образования в одном из московских пансионов, после того как она выдержала с отличием экзамен на звание домашней учительницы, Засулич вернулась в дом своей матери. Старуха мать ее живет в Петербурге. В небольшой сравнительно промежуток времени семнадцатилетняя девушка имела случай познакомиться с Нечаевым и его сестрой. Познакомилась она с ней совершенно случайно, в учительской школе, куда она ходила изучать звуковой метод преподавания грамоты. Кто такой был Нечаев, какие его замыслы, она не знала, да тогда еще и никто не знал его в России; он считался простым студентом; который играл некоторую роль в студенческих волнениях, не представлявших ничего политического.

По просьбе Нечаева В. Засулич согласилась оказать ему некоторую, весьма обыкновенную услугу. Она раза три или четыре принимала от него письма и передавала их по адресу, ничего, конечно, не зная о содержании самих писем. Впоследствии оказалось, что Нечаев — государственный преступник, и ее совершенно случайные отношения к Нечаеву послужили основанием к привлечению ее в качестве подозреваемой в государственном преступлении по известному нечаевскому делу. Вы помните из рассказа В. Засулич, что двух лет тюремного заключения стоило ей это подозрение. Год она просидела в Литовском замке и год в Петропавловской крепости. Это были восемнадцатый и девятнадцатый годы ее юности.

Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые мечты волновали ее в стенах Литовского замка и казематах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за тюремной стеной. Два года она не видела ни матери, ни родных, ни знакомых. Изредка только через тюремное

начальство доходила весть от них, что все, мол, слава богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Кое-когда только книга, прошедшая через тюремную цензуру. Возможность сделать несколько шагов по комнате и полная невозможность увидеть что-либо через тюремное окно. Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видится только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем, время от времени, в дверное окно, чтобы узнать, что делает арестант. Звук отворяемых и затворяемых замков, бряцание ружей сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныло-музыкальный звон часов Петропавловского шпица. Вместо дружбы, любви, человеческого общения — одно сознание, что справа и слева, за стеной, такие же товарищи по несчастью, такие же жертвы несчастной доли.

В эти годы зарождающихся симпатий Засулич действительно создала и закрепила в душе своей навеки одну симпатию — беззаветную любовь ко всякому, кто, подобно ей, принужден влачить несчастную жизнь подозреваемого в политическом преступлении. Политический арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом, товарищем юности, товарищем по воспитанию. Тюрьма была для нее *alma mater*, которая закрепила эту дружбу, это товарищество.

Два года кончились. Засулич опустили, не найдя даже никакого основания предать ее суду. Ей сказали: «Иди!», — и даже не прибавили: «И более не согрешай», — потому что прегрешений не нашлось и до того не находилось их, что в продолжении двух лет она всего только два раза была спрошена и одно время серьезно думала, в продолжении многих месяцев, что она совершенно забыта: «Иди». Куда же идти? По счастью, у нее всегда есть куда идти — у нее здесь, в Петербурге, старуха мать, которая с радостью встретит дочь. Мать и дочь были обрадованы свиданием; казалось, два тяжких года исчезли из памяти. Засулич была еще молода — ей был всего двадцать первый год. Мать утешала ее, говорила: «Поправишься, Верочка, теперь все пройдет, все кончилось благополучно». Действительно, казалось, страдания излечатся, молодая жизнь одолеет и не останется следов тяжелых лет заключения.

Была весна, пошли мечты о летней дачной жизни, которая могла казаться земным раем после тюремной жизни, прошло десять дней, полных розовых мечтаний. Вдруг поздний звонок. Не друг ли запоздалый? Оказывается, не друг, но и не враг, а местный надзиратель. Объясняет он Засулич, что приказано ее отправить в пересыльную тюрьму. «Как в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я не привлечена к нечаевскому делу, не предана суду, обо мне дело прекращено судебною палатою и Правительствующим Сенатом». — «Не могу знать, — отвечает надзиратель, — пожалуйста, я от начальства имею предписание взять вас».

Мать принуждена отпустить дочь. Дала ей кое-что: легкое платье, бурнус, говорит: «Завтра мы тебя навестим, мы пойдем к прокурору, этот арест — очевидное недоразумение, дело объяснится и ты будешь освобождена».

Проходят пять дней, В. Засулич сидит в пересыльной тюрьме с полной уверенностью скорого освобождения.

Возможно ли, чтобы после того как дело было прекращено судебною властью, не нашедшей никакого основания в чем бы то ни было обвинять Засулич,

она, двадцатилетняя девица, живущая у матери, могла быть выслана, и выслана только что освобожденная, после двухлетнего тюремного заключения.

В пересыльной тюрьме навещают ее мать, сестра; ей приносят конфеты, книжки; никто не воображает, чтобы она могла быть выслана, и никто не озабочен приготовлениями к предстоящей высылке.

На пятый день задержания ей говорят: «Пожалуй, вас сейчас отправляют в город Крестцы». — «Как отправляют? Да у меня нет ничего для дороги. Подождите, по крайней мере, дайте мне возможность дать знать родственникам, предупредить их. Я уверена, что тут какое-нибудь недоразумение. Окажите мне снисхождение, подождите, отложите мою отправку хоть на день. На два, я дам знать родным». — «Нельзя, — говорят, — не можем по закону, требуют вас немедленно отправить».

Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо покориться закону, не знала только, о каком законе тут речь. Поехала она в одном платье, в легком бурнусе; пока ехала по железной дороге, было сносно, потом ехала на почтовых, в кибитке, между двух жандармов. Был апрель месяц, стало в легком бурнусе невыносимо холодно: жандарм снял свою шинель и одел барышню. Привезли ее в Крестцы. В Крестцах сдали ее исправнику, исправник выдал квитанцию в принятии клади и говорит Засулич: «Идите, я вас не держу, вы не арестованы. Идите и по субботам являйтесь в полицейское управление, так как вы состоите у нас под надзором».

Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей приходится начать новую жизнь в неизвестном городе. У нее оказывается рубль денег, французская книжка да коробка шоколадных конфет.

Нашелся добрый человек, дьячок, который поместил ее в своем семействе. Найти занятие в Крестцах ей не представилось возможности, тем более нельзя было скрыть, что она — высланная административным порядком. Я не буду затем повторять другие подробности, которые рассказала сама В. Засулич.

Из Крестцов ей пришлось ехать в Тверь, в Солигалич, в Харьков. Таким образом началась ее бродячая жизнь, — жизнь женщины, находящейся под надзором полиции. У нее делали обыски, призывали для разных опросов, подвергали иногда задержкам не в виде арестов, о ней совсем забыли.

Когда от нее перестали требовать, чтобы она еженедельно являлась на просмотр к местным полицейским властям, тогда ей улыбнулась возможность контрабандой поехать в Петербург и затем с детьми своей сестры отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она летом 1877 года прочитывает в первый раз в газете «Голос» известие о наказании Боголюбова...

Боголюбов был осужден за государственное преступление. Он принадлежал к группе молодых, очень молодых людей, судившихся за преступную манифестацию на площади Казанского собора. Весь Петербург знает об этой манифестации, и все с сожалением отнеслись тогда к этим молодым людям, так опрометчиво заявившим себя политическими преступниками, к этим так непроизводительно погубленным молодым силам. Суд строго отнесся к судимому деянию. Покушение явилось в глазах суда весьма опасным посягательством на государственный порядок, и закон был применен с подобающей строгостью. Но

строгость приговора за преступление не исключала возможности видеть, что покушение молодых людей было прискорбным заблуждением и не имело в своем основании таких расчетов, своекорыстных побуждений, преступных намерений, что, напротив, в основании его лежало доброе увлечение, с которым не совладал молодой разум, живой характер, и дало им направиться на ложный путь, приведший к прискорбным последствиям.

Боголюбов судебным приговором был лишен всех прав состояния и приговорен к каторге. Лишение всех прав и каторга — одно из самых тяжелых наказаний нашего законодательства...

...Но есть сфера, которая не поддается праву, куда бессилён проникнуть нивелирующий закон, где всякая законная уравнительность была бы величайшей несправедливостью. Я разумею сферу умственного и нравственного развития, сферу убеждений, чувствований, вкусов, сферу всего того, что составляет умственное и нравственное достояние человека.

Высокоразвитый, полный честных нравственных принципов государственный преступник и безнравственный, презренный разбойник или вор могут одинаково, стена об стену, тянуть долгие годы заключения, могут одинаково нести тяжкий труд рудниковых работ, но никакой закон, никакое положение, созданное для них наказанием, не в состоянии уравнивать их во всем том, что составляет ничтожное лишение, легкое взыскание, то для другого может составить тяжелую нравственную пытку, невыносимое, бесчеловечное истязание.

Закон карающий может отнять внешнюю честь, все внешние отличия, с ней сопряженные, но истребить в человеке чувство моральной чести, нравственного достоинства судебным приговором, изменить нравственное содержание человека, лишить его всего того, что составляет неотъемлемое достояние его развития, никакой закон не может. И если закон не может предусмотреть все нравственные, индивидуальные различия преступников, которые обуславливаются их прошедшим, то является на помощь общая, присущая человеку, нравственная справедливость, которая должна подсказать, что применимо к одному и что было бы высшею несправедливостью в применении к другому.

Если с этой точки зрения общей справедливости смотреть на наказание, примененное к Боголюбову, то понятным станет то возбуждающее, тяжелое чувство негодования, которое овладело всяким неспособным безучастно относиться к нравственному истязанию над ближним.

С чувством глубокого, непримиримого оскорбления за нравственное достоинство человека отнеслась Засулич к известию о позорном наказании Боголюбова.

Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее родственником, другом, он не был ее знакомым, она никогда не видала и не знала его. Но разве для того, чтобы прийти в негодование от позорного глумления над беззащитным, нужно быть сестрой, женой, любовницей? Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все: политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам — представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант

был для Засулич — она сама, ее горькое прошедшее, ее собственная история — история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. Политический арестант был для Засулич — горькое воспоминание ее собственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: что я сделала? Что будет со мной? Когда же наступит конец? Политический арестант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре.

В беседах с друзьями и знакомыми, наедине, днем и ночью, среди занятий и без дела Засулич не могла оторваться от мысли о Боголюбове, и ниоткуда сочувственной помощи, ниоткуда удовлетворения души, взволнованной вопросами: кто вступится за опозоренного Боголюбова, кто вступится за судьбу других несчастных, находящихся в положении Боголюбова? Засулич ждала этого заступничества от печати, она ждала оттуда поднятия, возбуждения так волновавшего ее вопроса. Памятуя о пределах, молчала печать. Ждала Засулич помощи от силы общественного мнения. Из тиши кабинета, из интимного круга приятельских бесед не выползло общественное мнение. Она ждала, наконец, слова от правосудия. Правосудие... Но о нем ничего не было слышно.

И ожидания оставались ожиданиями. А мысли тяжелые и тревоги душевные не унимались. И снова, и снова, и опять, и опять возникал образ Боголюбова и вся его обстановка.

Но звуки цепей смущали душу, но мрачные своды мертвого дома леденили воображение; рубцы — позорные рубцы — резали сердце, и замогильный голос заживо погребенного звучал:

«Что ж молчит в вас, братья, злоба,
Что ж любовь молчит?»

И вдруг внезапная мысль, как молния сверкнувшая в уме Засулич: «О, я сама! Затихло, замолкло все о Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха издать этот крик, я издам его и заставлю его услышать!» Решимость была ответом на эту мысль в ту же минуту. Теперь можно было рассуждать о времени, о способах исполнения, но само дело, выполненное 24 января, было бесповоротное решено.

Между блеснувшей и зародившейся мыслью и исполнением ее протекли дни и даже недели; это дало обвинению право признать вмененное Засулич намерение и действие заранее обдуманном.

Если эту обдуманность относить к приготовлению средств, к выбору способов и времени исполнения, то, конечно, взгляд обвинения нельзя не признать справедливым, но в существе своем, в своей основе намерение Засулич не было и не могло быть намерением хладнокровно обдуманным, как ни велико по времени расстояние между решимостью и исполнением. Решимость была и осталась внезапною, вследствие внезапной мысли, павшей на благоприятную, для нее подготовленную, почву, овладевшей всецело и всевластно экзальтированной натурой. Намерения, подобные намерению Засулич, возникающие в душе возбужденной, аффектированной, не могут быть обдумываемы, обсуждаемы.

Мысль сразу овладевает человеком, не его обсуждению она подчиняется, а подчиняет его себе и влечет за собою. Как бы далеко ни отстояло исполнение мысли, овладевавшей душой, аффект не переходит в холодное размышление и остается аффектом. Мысль не проверяется, не обсуждается, ей служат, ей рабски повинуются, за ней следуют. Нет критического отношения, имеет место безусловное поклонение. Тут обсуждаются и обдумываются только подробности исполнения, но это не касается сущности решения. Следует ли или не следует выполнить мысль, - об этом не рассуждают, как бы долго ни думали над средствами и способами исполнения. Страстное состояние духа, в котором зарождается и воспринимается мысль, не допускает подобного обсуждения; так вдохновенная мысль поэта остается вдохновенною, не выдуманною, хотя она и может задумываться над выбором слов и рифм для ее воплощения.

Мысль о преступлении, которое стало бы ярким и громким указанием на расправу с Боголюбвым, всецело завладело возбужденным умом Засулич. Иначе и быть не могло: эта мысль как нельзя более соответствовала тем потребностям, отвечала на те задачи, которые волновали ее.

Руководящим побуждением для Засулич обвинение ставит месть. Местью и сама Засулич объяснила свой поступок, но для меня представляется невозможным объяснить вполне дело Засулич побуждением мести, по крайней мере мести, понимаемой в ограниченном смысле этого слова. Мне кажется, что слово «месть» употреблено в показании Засулич, а затем и в обвинительном акте как термин наиболее простой, короткий и несколько подходящей к обозначению побуждения, импульса, руководившего Засулич.

Но месть, одна «месть» была бы неверным мерилom для обсуждения внутренней стороны поступка Засулич. Месть обыкновенно руководится личными счетами с отомщаемым за себя или близких. Но никаких личных, исключительно ее, интересов не только не было для Засулич в происшествии с Боголюбвым, но и сам Боголюбов не был ей близким, знакомым человеком.

Месть стремится нанести возможно больше зла противнику; Засулич, стрелявшая в генерал-адъютанта Трепова, сознается, что для нее безразличны были те или другие последствия выстрела. Наконец, месть старается достигнуть удовлетворения возможно дешевою ценой, месть действует скрытно, с возможно меньшими жертвованиями. В поступке Засулич, как бы ни обсуждать его, нельзя не видеть самого беззаветного, но и самого нерасчетливого самопожертвования. Так не жертвует собой из-за одной узкой, эгоистической мести. Конечно, не чувство доброго расположения к генерал-адъютанта Трепову питала Засулич; конечно, у нее было известного рода недовольство против него, и это недовольство имело место в побуждениях Засулич, но ее месть всего менее интересовалась лицом отомщаемым; ее месть окрашивалась, видоизменялась, осложнялась другими побуждениями.

Вопрос справедливости и легальности наказания Боголюбова казался Засулич не разрешенным, а погребенным навсегда, — надо было воскресить его и поставить твердо и громко. Униженное и оскорбленное человеческое достоинство Боголюбова казалось невозстановленным, несмытым, неоправданным, чувство мести — неудовлетворенным. Возможность повторения в будущем

случаев позорного наказания над политическими преступниками и арестантами казалась непредупрежденной.

Всем этим necessitatibus, казалось Засулич, должно было удовлетворить такое преступление, которое с полной достоверностью можно было бы поставить в связь со случаем наказания Боголюбова и показать, что это преступление явилось как последствие случая 13 июля, как протест против поругания над человеческим достоинством политического преступника. Вступить за идею нравственной чести и достоинства политического осужденного, провозгласить эту идею достаточно громко и призвать к ее признанию и уверению, — вот те побуждения, которые руководили Засулич, и мысль о преступлении, которое было бы поставлено в связь с наказанием Боголюбова, казалось, может дать удовлетворение всем этим побуждениям. Засулич решилась искать суда над ее собственным преступлением, чтоб поднять и вызвать обсуждение забытого случая о наказании Боголюбова.

Когда я совершу преступление, думала Засулич, тогда замолкнувший вопрос о наказании Боголюбова восстанет; мое преступление вызовет гласный процесс, и Россия, в лице своих представителей, будет поставлена в необходимость произнести приговор не обо мне одной, а произнести его, по важности случая, в виду Европы, той Европы, которая до сих пор любит называть нас варварским государством, в котором атрибутом правительства служит кнут.

Этими обсуждениями и определились намерения Засулич. Совершенно достоверным поэтому представляется то объяснение Засулич, которое притом же дано было ею при самом первоначальном ее допросе и было затем неизменно поддерживаемо, что для нее было безразлично: будет ли последствием произведенного ею выстрела смерть или только нанесение раны. Прибавлю от себя, что для ее целей было бы одинаково безразлично и если б выстрел, очевидно, направленный в известное лицо, и совсем не произвел никакого вредного действия, если б последовала осечка или промах. Не жизнь, не физические страдания генерал-адъютанта Трепова нужны были для Засулич, а появление ее самой на скамье подсудимых, вместе с нею появление вопроса в случае с Боголюбовым.

Было безразлично, совместно существовало намерение убить или ранить; намеренно убить не отдавала Засулич никакого особенного преимущества. В этом направлении она и действовала. Ею не было предпринято ничего для того, чтобы выстрел имел неизбежным следствием смерть. О более опасном направлении выстрела она не заботилась. А, конечно, находясь в том расстоянии от генерал-адъютанта Трепова, в каком находилась, она, действительно, могла бы выстрелить совершенно в упор и выбрать самое опасное направление. Вынув из кармана револьвер, она направила его так, как пришлось: не выбирая, не рассчитывая, не поднимая даже руки. Она стреляла, правда, в очень близком расстоянии, но иначе она и не могла действовать. Генерал-адъютант Трепов был окружен своею свитою, и выстрел на более далеком расстоянии мог грозить другим, которым Засулич не желала вредить. Стрелять совсем в сторону было дело неподходящее: это сводило бы драму, которая нужна была Засулич, на степень комедии.

Раздался выстрел. ...Не продолжая более дела, которое совершала, довольствуясь вполне тем, что достигнуто, Засулич сама бросила револьвер, прежде чем успели схватить ее, и, отойдя в сторону, без борьбы и сопротивления отдалась во власть набросившегося на нее майора Курнеева и осталась незадушенной им только благодаря помощи других окружающих. Ее песня была теперь спета, ее мысль исполнена, ее дело совершено.

Я должен остановиться на прочтенном здесь показании генерал-адъютанта Трепова. В этом показании сказано, что после первого выстрела Засулич, как заметил генерал Трепов, хотела произвести второй выстрел и что началась борьба: у нее отнимали револьвер. Это совершенно ошибочное показание генерал-адъютанта Трепова объясняется тем весьма понятным взволнованным состоянием, в котором он находился. Все свидетели, хотя также взволнованные происшествием, но не до такой степени, как генерал-адъютант Трепов, показали, что Засулич совершенно добровольно, без всякой борьбы, бросила сама револьвер и не показывала намерения продолжать выстрелы. Если же и представилось генерал-адъютанту Трепову что-либо похожее на борьбу, то это была та борьба, которую вел с Засулич Курнеев и вели прочие свидетели, которые должны были отрывать Курнеева, вцепившегося в Засулич.

Я думаю, что ввиду двойственности намерения Засулич, ввиду того, что для ее намерений было безразлично последствие большей или меньшей важности, что ею ничего не было предпринято для достижения именно большего результата, что смерть только допускалась, а не была исключительным стремлением В. Засулич — нет оснований произведенный ею выстрел определять покушением на убийство. Ее поступок должен быть определен по тому последствию, которое произведено в связи с тем особым намерением, которое имело в виду это последствие.

Намерение было: или причинить смерть, или нанести рану; не последовало смерти, но нанесена рана. Нет основания в этой нанесенной ране видеть осуществление намерения причинить смерть, уравнивать это нанесение причинить смерть, уравнивать это нанесение раны покушению на убийство, а вполне было бы справедливо считать не более как действительным нанесением раны и осуществлением намерения нанести такую рану. Таким образом, отбрасывая покушение на убийство как не осуществившееся, следовало бы остановиться на действительно доказанном результате, соответствовавшем особому условному намерению — нанесению раны.

Если Засулич должна понести ответственность за свой поступок, то эта ответственность была бы справедливее за зло, действительно последовавшее, а не такое, которое не было предположено как необходимый и исключительный результат, как прямое и безусловное стремление, а только допускалось.

Впрочем, все это — только мое желание представить вам соображения и посильную помощь к разрешению предстоящих вам вопросов; для личных же чувств и желаний Засулич безразлично, как бы ни разрешился вопрос о юридическом характере ее действий, для нее безразлично быть похороненной по той или другой статье закона. Когда же она переступила порог дома градоначальника с решительным намерением разрешить мучившую ее мысль, она знала и

понимала, что она несет в жертву все — свободу, остатки своей разбитой жизни, все то небольшое, что дало ей на долю мачеха-судьба.

И не торговаться с представителями общественной совести за то или другое уменьшение своей вины явилась она сегодня перед вами, господа присяжные заседатели.

Она была и осталась беззаветною рабой той идеи, во имя которой подняла она кровавое оружие.

Она пришла сложить перед нами все бремя наболевшей души, открыть скорбный лист своей жизни, честно и откровенно изложить все то, что она пережила, передумала, чего ждала от него.

Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на этой скамье преступлений и тяжелых душевных страданий является перед судом общественной совести женщина по обвинению в кровавом преступлении.

Были здесь женщины, смертью мстившие своим соблазнителям; были женщины, обогрившие руки в крови изменивших им любимых людей или своих счастливых соперниц. Эти женщины выходили отсюда оправданными. То был суд правый, отклик суда божественного, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл, на действительную преступность человека. Та женщина, совершая кровавую расправу, боролась и мстила за себя.

В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести — женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею, во имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей ее молодой жизни. Если этот мотив проступка окажется менее тяжелым на весах общественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для общественности нужно призвать кару законную, тогда — да совершится ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!

Не много страданий может прибавить ваш приговор для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрека, без горькой жалобы, без обиды примет она от вас решение ваше и утешится тем, что, может быть, ее страдания, ее жертва предотвратили возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок. Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в самых мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва.

Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренной, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников.

В. Засулич была оправдана.

РЕЧЬ С.А. АНДРЕЕВСКОГО В ЗАЩИТУ А.Г. ИВАНОВА (в извлечении)

Краткий комментарий к речи

Запасной рядовой 89-го пехотного полка А.Г. Иванов обвинялся в том, что 18 февраля 1891 года он умышленно, без заранее обдуманых намерений лишил жизни свою невесту А.А. Назаренко, нанеся ей удар ножом в левую сторону груди, от которого она сразу же скончалась. Иванов признал свою вину полностью. Кроме того, его виновность подтверждалась многочисленными доказательствами. Находясь в камере предварительного заключения, Иванов прислал письмо адвокату С.А. Андреевскому и просил его выступить защитником в суде. Об этом деле защитник рассказал в своих беседах с помощником присяжных поверенных:

«Я всегда оставался упрямым во всех тех (сравнительно весьма немногих) случаях, когда суд со мною не соглашался. И почти всегда время оправдывало меня.

Некогда печать упрекала меня в том, что в своих речах я создаю фантастические литературные образы, вовсе не соответствующие тем живым подсудимым, которых защищаю. Наибольшие упреки достались мне за Иванова. Я не возражал. Я знал, что правда была на моей стороне, и, как всегда, «с меня было довольно сего сознания». Я питаю отвращение к так называемой «сентиментальности» и к приемам дурного вкуса, от которых, по выражению Тургенева, «воняет литературой».

Беседуя с будущими адвокатами, С.А. Андреевский продолжал свою мысль: «Расскажу вам об Иванове. От Иванова я получил письмо из тюрьмы. По каким-то случайностям я откладывал со дня на день просьбу о допущении меня к свиданию, хотя и носил его письмо в кармане. Как раз в это время мне встретился в одном обществе Владимир Соловьев. Не помню, какой именно разговор заставил меня вспомнить о письме Иванова, и я его прочитал всем присутствующим. Соловьев накинулся на меня: «И неужели вы до сих пор не были у него! Такое письмо мог бы написать только Достоевский... Это во всяком случае выдающийся, интересный человек. Спешите к нему и непременно берите защиту». Я сказал, что и без того упрекаю себя за невольное запаздывание»...

Постараюсь, господа присяжные заседатели, в течение моей защиты показать вам, в чем, собственно, заключается особенный интерес этого дела. А теперь прежде всего я желал бы пойти навстречу вашему состраданию к убитой и ни в чем не разойтись с вашими чувствами. Действительно, сердце переворачивается, когда вспомнишь об этом ужасном убийстве молодой женщины. Мы знаем о покойной, что это была молодая, миловидная мешаночка, жившая своей тихой жизнью. Была она горничной, попала в любовницы к женатому буфетчику, родила ребенка, отвезла его в воспитательный дом, причем по дороге сломала себе руку, отлежала в больнице, жила на Пороховых заводах весьма бедно, вместе со своим маленьким братом, любила свою мать и среди всей

неказистой жизни сохранила, однако, свежесть, бодрость и ту привлекательность обращения, которые сразу подкупили в ее пользу подсудимого. В эту тихую жизнь вдруг ворвалась бурная личность Иванова — и через неделю со дня первой встречи Настасья Назаренко была уже казнена! Ну, не жестокое ли, в самом деле, это кровопролитие? Да, жестокое, но... и не странное ли в то же время? Во всяком случае мы встречаемся с событием, достойным изучения.

Произошло столкновение двух жизней. О жизни Настасьи Назаренко, кроме того, что мы сказали, кажется, и сказать больше нечего. Но жизнь и личность Иванова гораздо сложнее. Если, по нашему мнению, его расправа с покойной Настасьей была неизмеримо суровой и произвольной, то почему же, спрашивается, он так легко пошел на эту расправу? Вот в этом-то и заключается особый интерес этой любовной драмы. Здесь как будто доведено до величайшей чистоты кровавое право нашего времени: «Не любишь меня, как я того желаю, — так отправляйся же на тот свет». Иванов даже так и сказал, вонзая нож в Настасью: «Так умри же, несчастная!». И быстрота всей трагедии поразительная: всего только неделю знаком с женщиной, еще и не обладал ею и — уже убил!

Личность подсудимого глубоко поучительна. Он находится как раз на той любопытной грани между нормальным и ненормальным человеком, на которой все заблуждения страстей обыкновенно получают свое самое сильное и яркое выражение. Он будто целиком взят из самых странных романов нашей эпохи: в нем есть и карамазовская кровь, есть большое сходство с Позднышевым из «Крейцеровой сонаты», он отчасти сродни и много думающим жуирам, постоянно изображаемым французскими писателями. Самая его фамилия «Иванов», подобно заглавию чеховской комедии, будто хочет сказать нам, что таких людей много расплодилось в наше время. Иванов, хотя и военный писарь, но человек с большой начитанностью; он пишет свои показания очень литературно, без всяких поправок и без малейших ошибок даже в знаках препинания, так что это соединение простого звания с образованностью помогает раскрытию типичности Иванова: в нем есть и стихийная сила и развитая мысль.

Какой же он человек?

Вы видите его наружность. Хотя ему уже 27 лет, но он чрезвычайно молоджав и миниатюрен. Он смотрит красивым мальчиком. Черты лица у него тонкие и правильные, но в его круглых глазах, большей частью серьезных, мелькает беспокойный огонек блуждающей мысли. По роду своих занятий он имел когда-то хорошую карьеру — был старшим писарем штаба, но затем сбился с дороги, за беспутство потерял службу и в последнее время был писарем на Пороховых заводах.

Обвинению, по-видимому, чрезвычайно нравится идея представить Иванова ни более, ни менее как узким материалистом, плотоугодником — «человеком-зверем». Приводятся случаи, что он пьянствовал, картежничал, посещал публичные заведения и даже в сношениях своих с женщинами не брезгал пользоваться от них деньгами. Этот последний намек вызвал целый взрыв негодования со стороны Иванова. Прочитав обвинительный акт, он поторопился в прошение, поданном суду, отстаивать свою «честь» против опозорения его

нравственной личности. И в самом деле, намеки на корыстолюбие Иванова чрезвычайно неудобны. Есть только факты его денежной беспорядочности и под влиянием его несчастной наследственной склонности к пьянству. Переписка с прежней невестой Иванова, Кларой, дает прокурору всего каких-нибудь десять случаев среди 114 посланий, где Иванов просит у Клары большей частью по рублю, редко по 2, и, кажется, всего один раз по 3 рубля. В общей сложности едва ли наберется более 15 рублей. Между тем в одном из своих писем и Клара просила Иванова достать ей 10 рублей для ее сестры. Все эти мелочи не годятся для того, чтобы приписать Иванову любовь к деньгам. Тут выходит явная натяжка. Любил бы действительно этот пылкий и умный человек деньги — не такие бы крохи пришлось прокурору подбирать в его жизни, чтобы подтвердить его корыстолюбие! Нет! Что бы там ни говорили, а Иванов — человек бескорыстный, и в этом уже первый штрих, чтобы усомниться в его приверженности к материальным благам. За деньгами гоняются и деньги добывают всякими путями те любители наслаждения, которые умеют всем наслаждаться без горечи и без раздумья. А Иванов не такой. Его постоянно какой-то червяк гложет. Правда, он человек беспутный.

«Поведения всегда был дурного», — говорит он о себе с тоном весьма серьезного убеждения. При всей пылкости своей крови и страстной своей натуры Иванов ни в каком случае не был развратником или низменным сластолюбием. Он гнушается, например, обычая на фабричных свадьбах подавать яичницу для угощения молодых супругов с нечистыми намеками на брачную ночь. Тут же он пишет в своем показании: «Достойны также порицания пляски замужних женщин, из числа которых некоторые имеют замужних дочерей, невест, а другие — женатых сыновей».

Высокий слог и возвышенные чувства слишком неотвязчиво и упорно проявляются у Иванова всегда, когда он говорит или пишет о любви, чтобы можно было его заподозрить в умышленном ханжестве, в лукавом лицемерии. Нет, все это у него искренно. Он принадлежит к типическим раздвоенным людям нашего времени, которые красиво думают и скверно поступают. Им все кажется, что они вот здесь именно попадают в самое небо, а они попадают только в лужу, где отражается для них небо (сравнение, кажется, чужое, но все равно — я его уже сказал). В письме ко мне (представленном мною суду) Иванов говорит: «Сам не знаю, как это случилось, что я всегда желал делать добро, а выходили одни подлости». В своем втором показании он объясняет: «Много страдал от горячности. Редко удавалось исправить ошибки свои, но всегда сознавал их». И еще одна черта: такие люди, видя постоянное несоответствие своих дурных поступков с своею хорошей сущностью, страдают болезненной гордостью, страшной обидчивостью. Они оскорбляются с яростью, почти с бешенством. В этом случае в них говорит как будто вырывающийся изнутри вопль души, которая отчаянно отбивается за свое благородство. Это же есть и у Иванова. «Несмотря на свою внешность и малый рост, — пишет он, — люблю постоять за себя. По необходимости вынося всевозможные унижения и оскорбления, я сильнее проявлял свои затаенные чувства, когда к тому вынуждали». Трудно в лучших словах передать всю горечь этого внутреннего противоречия.

Словом, это — человек, по натуре своей — печальный, несмотря ни на водку, ни на карты, ни на свои пляски на вечеринках. Нам скажут: «начитался романов и воображает себя героем вот и все». Нет, это вовсе не так просто. Самая жажда чтения и — большое количество прочитанного показывают, что в душе у Иванова поднимались вопросы и что он искал чего-то лучшего. И хотя его беспорядочная начитанность постоянно и невольно у него проглядывает в глубине сердца, он ею огорчен. «Еще будто хуже стало от чтения, — сознается он, — в детстве было лучше, потому что в книгах прежняя вера только спуталась». Вот что! Вера в иную жизнь, какое-нибудь оправдание земных несправедливостей нужны этим людям как воздух, как манна небесная. Иначе их ум, их благородные страсти, их добрые чувства им только в тягость, ссорят их с окружающими и делают их невыносимыми в жизни. И видя себя постоянно огорченными и не попавшими в цель, каждый раз обманутыми или обращенными на дурную дорогу, они уже начинают считать себя роковыми, то есть такими, которым несчастье на роду написано! И они его принимают как нечто должное... Но как же, спрашивается, оставаясь живыми, могут они не обманываться каждый раз, когда счастье будто снова и снова протягивает им руку?

И вот такой-то человек, в таком именно настроении, встретился с простой и миловидной Настасьей Назаренко. Он предположил в ней олицетворение своего, уже несомненного, неотъемлемого и высшего счастья. И здесь-то именно его стерегло самое тяжкое горе в жизни. На этом он уже совсем и окончательно скрутился.

Но прежде чем войти в подробности любовной драмы Иванова с Настей, необходимо вспомнить его в высшей степени своеобразные отношения к Кларе. Это был самый значительный и едва не единственный настоящий роман в жизни Иванова. Любовь эта продолжалась три года и теперь еще не кончена... Много задушевного, грустного и глубокого было в этом странном чувстве Иванова. Вы знаете, что Клара была бонной у начальника Иванова в Ревеле, полковника Гершельмана. Вы помните, как ее описывает Иванов: высокая, стройная, совершенная блондинка, свежая, чистенькая, с детским личиком — настоящая барышня. Они полюбили друг друга, но не сразу, а постепенно. Только через семь месяцев после знакомства Клара первая призналась Иванову в любви в письме, которое ему передал денщик. Между влюбленными возникли небывалые, невероятные в их классе, отношения. Три года свиданий, на полной свободе, при ласках, самых кротких, заходивших очень далеко, — и в результате: девственность Клары до настоящей минуты. Иванов даже описывает эти ласки, их страстность и мучительность, — с полным правом восклицает: «Не знаю, кто бы мог воздержаться и не соблазниться при всем, что я видел и чувствовал!»... Переписка молодых людей подтверждает эту необычную воздержанность Иванова, его силу воли над собой, его страх перед доверием чистой девушки. В одном из своих последних писем к Иванову Клара совсем по-детски просит Иванова рассказать ей, «чистая ли она еще девушка или нет?». А Иванов также в одном из своих последних писем — в которых вообще и всегда называет ее не иначе как «чистою» — спрашивает Клару с полным спокойствием совести: «Что я требую от тебя, кроме чистой любви?» — и тут же добавляет (так

может сказать не обольститель, готовый сбыть свою жертву другому, а только человек, сознающий свою невиновность перед честью девушки): «Если бы ты нашла человека, которого бы я счел тебя достойным, я окончил бы наше счастье». Думаю, что таких примеров господства силы духовной над силой животной едва ли много сыщется в наше время.

Но почему Клара осталась только невестой? Почему не состоялся брак? Трудно встретить более любопытную психологическую тему, как взаимное тяготение этих двух натур — Иванова и Клары, и трудно вообразить более трогательную и тонкую драматическую преграду, которая мешала их окончательному сближению. Между ними произошло следующее. Все, что есть в Иванове теоретически благородного — в глубине его испорченной, буйной и беспутной натуры, — все это в нем ясно почувствовала и навсегда беззаветно полюбила эта задушевная, чистая сердцем, девушка. И он с вою очередь это понял: он проникся к ней глубочайшей благодарностью и нежностью и пожелал во что бы то ни стало сделать ее истинно счастливой. Было одно время, в самом начале, когда, впервые убедившись в ее любви, он как будто на себя понадеялся: бросил пить, начал заниматься, блистательно пошел в гору по службе, но... его несчастные свойства сделали-таки свое дело. Он стал замечать, что его горячность, гордость, вообще какая-то роковая шероховатость, непокладистость и беспутство стали брать верх: вокруг него расплодился враги: пошли интриги, доносы, оскорбительный напрасный суд — и опять водка, пренебрежение к дисциплине, а затем — разжалование в разряд штрафованных, то есть конец всякого хорошего будущего. А Клара все по-прежнему любила и все ему прощала только она одна. И тем более он благоговел перед нею и не смел завладеть ее судьбой. В нем было какое-то горькое сознание, что он слишком черен для ее глубокой чистоты; он как будто чуял невидимую силу, охранявшую Клару; что-то не подпускало его к ней. Сверх того, чисто житейские соображения его пугали: Клара была белоручка, ничем бы не могла зарабатывать с ним хлеб, не годилась в хозяйки чернорабочему. Ее родные тоже не одобряли этого брака. В последнюю разлуку (Клара оставалась у родных в Ревеле, а Иванов, потеряв службу, определился слесарем на Пороховые заводы в Петербурге) до Иванова доходили слухи, что Клару прочат замуж за пожилого, но состоятельного человека. На его три последних письма Клара не ответила. Теперь мы знаем, что это вышло случайно и что Клара по-прежнему его любила; но для Иванова было уже ясно, что его дела сложились безнадежно и что от Клары надо совсем навсегда отказаться. Он запил и стал пренебрегать своей работой. И тут-то ему встретилась Настя, которую он «полюбил сразу и почему-то сильнее, чем Клару». Так ему, по крайней мере, казалось.

Замечательно, что ни с Кларой, в течение трех лет, ни с Настей, в течение недели, Иванов, несмотря на самые интимные свидания, не вступал в половую связь. Между тем у него была довольно постоянная связь с известной вам ключницей — некрасивой, немолодой и болезненной, и еще с какой-то прачкой, также ни в каком отношении не интересной. Значит, в тех случаях, когда женщина служила ему для удовлетворения половой потребности, Иванов сближался с ней скоро и просто, не предъявляя особенных требований на красоту,

не гоняясь за разнообразием и не внося в свои отношения ничего более, кроме обыкновенной доброты и некоторого постоянства. Но как только женщина захватывала его глубже, как только в нем начинало говорить сердце — он стремился делать из любви вопрос целой жизни, — он называл свою избранницу невестой, он с величайшими усилиями обуздывал свою страсть, в ожидании брака, и мечтал о соединении своей судьбы с судьбою любимой женщины. Любовь была для этого человека чем-то величайшим на свете. Она отогревала и озаряла для него каким-то особенным смыслом жизнь, казавшуюся столь безотрадной и противоречивой для блуждающего ума. Для многих людей нашего времени любовь является тем же самым. Французский поэт Ришелье где-то сказал очень метко: «Наши отцы любили, как кролики; мы любим как змеи». Наша любовь — это какая-то адская смесь острой водки и святой любви. Да, быть может «острой водки», то есть вожделения, страсти, но зато и — «святой воды», то есть искание какого-то идеала. Или как еще лучше говорит наш Достоевский: «Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сухой из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной высший человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину горит, как и в юные, беспорочные годы».

После этих, не лишенных интереса, мыслей нам будет понятнее встреча Иванова с Настасьей Назаренко. Увидев ее в дилижансе в первый раз в жизни, Иванов мгновенно полюбил ее и даже тут же сделал предложение. Можно поэтому представить себе, как она поразила и захватила его всего — с его сердцем, умом, воображением и его пылкою кровью. Скажут, пожалуй, что, увидев женщину всего один раз, можно разве только влюбиться в нее, но нельзя полюбить. Но вся история поэзии говорит нам противное. Поэзия — достояние всех людей, она на знает аристократизма, и в деле Иванова, который сам себя считает по натуре поэтом, я могу назвать известные и ему имена в литературе: Данте, Ромео, Фауст. Все они имели глубочайшие привязанности, возгоревшиеся с первой секунды встречи. Есть лица женские, в которых взор мужчины встречает для души мгновенный приговор. Все в такой женщине отвечает на давнишние запросы сердца. Все ее внутренние свойства невольно угадываются: ее глаза ручаются вам за ее ум и сердце, звук ее речи откликается на ваши самые благородные чувства и каждое ее движение подтверждает угаданную вами высшую чистоту ее натуры. Точно так описывает свое первое впечатление и Иванов: «Ее милая речь, интонация чрезвычайно очаровали. Ее несчастье возбуждало мою жалость, и в общем я нашел ее милою, прелестною девушкою, которая может составить мое счастье. Ночью видел ее во сне!»

Перед этой встречей Иванов, как мы знаем, уже впадала в отчаяние вследствие разрыва с Кларой. Это глубокое, но необъяснимо грустное и безнадежное чувство не исчезло в Иванове, но как-то волшебным — совсем скрылось на время, сделалось совершенно бесплотным и далеким — при первом же взгляде на Настю. Здесь в ней Иванов сразу нашел нечто совсем по себе, нечто такое, чего он не только совсем не боялся, но к чему он шел навстречу вполне

доверчиво, полным ходом, без оглядки, с необъяснимым увлечением! И с первой же минуты встречи глубоко потрясенная душа Иванова не знала передышки. Он впал в бред о блаженстве. Вся эта злосчастная неделя, от начала до конца, была для Иванова истинным пожаром сердца, и нам необходимо проследить ее день за днем.

На следующий день Иванов побывал у свахи. Сваха дала о Насте неутешительную справку, у нее есть любовник, буфетчик, от которого было уже дите. Ослепленному Иванову это показалось клеветой. Настойчивость свахи, что это — правда, поколебала его, но не надолго. Его слишком влекло к Насте. Он едва не предполагал ее девственницей; он только радовался ее собственным словам, что она «не занята», то есть что она теперь никого не любит, что она может и, как ему казалось, должна полюбить его. Так прошел первый день после встречи. Ночь прошла в грезах и в ожидании новой встречи. Утром он был уже у Насти.

Первый же разговор обдал Иванова радостью. Предложение было принято, и он почувствовал взаимность. Он начал с обожанием целовать у нее руки; она старалась не допускать этих поцелуев, говоря, что она «того не достойна». При этом она рассказала, что у нее было пятнадцать женихов, но она им отказала. Один из них «обманом лишил ее чести», но она все-таки не могла его любить и за неделю до свадьбы отказала ему. Иванова мучало это прошедшее Насти, и он просил ее рассказать ему еще что-нибудь по этому поводу, но, заметив, что она конфузится и опускает глаза, — прекратил расспросы. Иванов имел только одно ощущение, что любовь этой женщины окружила его; он добился от Насти слова «люблю»!

Здесь уместно будет обозначить недоразумение, возникшее с самого начала между этими двумя лицами: Иванов действительно полюбил Настю, и Иванов Насте только понравился. И в этом нет ничего странного. Наружность Иванова могла привлечь Настю; совет опытной хозяйки, что «лучше пристроиться, чем возиться с любовником», мог ее подвинуть на скорую решимость выйти замуж. Дело это для нее представлялось весьма простым и подходящим. Она, по всей вероятности, искренно радовалась этому случаю. Но она, мне кажется, и не подозревала, какое чарующее и великое значение имело для Иванова ее простое сердечное слово «люблю»! В этом отношении мужчины всегда платятся за свою самонадеянность. Увы! Это великое слово в устах женщины вовсе не имеет такого великого значения... Женщины далеко не так скоро привязываются, как это думается мужчинам. Это слово, сказанное Настей, было, правда, вполне искренним, но оно еще не было особенно глубоким. А Иванов уже возмечтал о полной «гармонии душ»! И с этой минуты лицо Насти, доверчиво открытое для его любви, стало для него единственным источником истины. Что бы о Насте вокруг ни говорили, он ждал одного: того ответа, который он прочтет на ее лице... Лицо любимой женщины никогда не может лгать. Оно не лжет даже тогда, когда оно говорит неправду, потому что если женщина вас любит, то она знает, что если бы то, что вас смущает, и было справедливо, то и это бы не помешало вашему счастью и не имело бы для вас значения, так как теперь вы ею любимы, а потому зачем вам знать истину? И в этом случае лю-

бящая женщина вполне права...пока она вас любит. Вот почему и на этот раз допрос Иванова о прошедшем Насти нисколько не поколебал его. Лицо Насти говорило ему, что он будет счастлив, и этого ему было совершенно достаточно. Ее опущенные глаза вполне убеждали его в том, что ему больше все равно ничего не нужно знать. Итак, любовь Иванова, начиная с первой беседы с Настей наедине, быстро пошла в гору. Заметим, однако, что это выражение любви на лице Насти было в действительности только легкой маской любви. Эта маска сама собою слилась бы впоследствии с живыми чертами Настиного лица, превратилась бы в правду; но покамест — она едва-едва держалась и, при малейшем препятствии к дальнейшему развитию ее чувства, она могла так же легко свалиться с этого милого лица, как она легко пристала к нему с первой минуты объяснений. А для Иванова это уже была истина; это лицо уже глубоко врезалось в его сердце, жгло его и озаряло радостью... Уйдя от Насти, Иванов услышал о ней в трактире неблагоприятные отзывы; товарищи, увидев ее карточку, говорили ему, что эта особа «не так хороша, как он о ней думает». Иванову это причинило боль, но не уничтожило его веры. В тот вечер он еще раз увидел Настю и условился быть у нее к ночи. Новая, долгая беседа с Настей до 2 часов ночи еще дальше завлекла Иванова.

На четвертый день первая мысль: опять к Насте. Она еще спала, но, проснувшись, из-за дверей одобрила его намерение в тот же день хлопотать о немедленной свадьбе, до поста. День прошел в розысках посаженной матери. Вечером Настя не пустила его к себе, говоря, что у нее сидит хозяйка. В нем на минутку проснулось какое-то подозрение, но поцелуй Насти все изгладил.

Пятый день — опять розыски крестной для устройства свадьбы. Новое свидание с Настей и совместная поездка к родным Иванова, к Настиной матери. К своей матери Настя, однако, входила одна и вынесла неутешительный ответ: мать была за отсрочку до пасхи. Благодаря настойчивости Иванова только к ночи удалось соединить всех родных и все согласились на свадьбу под условием, чтобы сам жених добыл часть денег на расходы. Во время всех этих разъездов, переходов и в особенности во время ночного путешествия из города на Пороховые близость между женихом и невестой возрастала. Обхватив рукою Настю на извозчике, Иванов уже считал себя неразлучным с нею. Они пришли к расвету вдвоем в Настину комнату. Они уже на «ты». Настя при нем раздевалась и, откинувшись на подушку, позволила себя поцеловать в лицо, шею и грудь. От близости любимой женщины Иванову становилось больно, но он совладал с собой и ушел в девятом часу утра. Это был самый счастливый день. Эти сутки были «апогеем любви». Шестой день Иванов до половины проспал. Придя к Насте, он застал ее в постели. Здесь впервые невеста заговорила об отсрочке свадьбы. Жених, убежденный в прочности своего счастья, готов был уступить. Но вот Настя на минуту вышла из комнаты, и ее маленький брат, открыв шкаф, вынул оттуда две сороковки и полуштоф, уже порожние. Кто это покупал и пил водку? Степа ответил, что покупает «Настин жених, а пустые бутылки надо отнести, чтобы получить за них деньги». Иванов по этому поводу пишет: «Как черная туча, грусть навалилась на душу: неужели это правда?». Но вошла Настя, и расспросы не поднимались с языка. Однако Иванова взяло серьезное

раздумье. Он примолк, стал прохаживаться по комнате и все-таки, не излив своих сомнений, ласково простился с Настей. Влюбленное сердце боится допытываться, боится нарушить ясную благосклонность дорогого лица, слишком свято для такого сердца выражение счастья на этом лице! Настя отпустила Иванова со словами: «Прощай, дорогой». Он пошел на вечеринку; пробовал танцевать, но, не окончив танца, ушел в смежную комнату и расплакался.

Свидание седьмого дня вначале было натянуто. Настя избегала его взоров. Заговорила о том, что ей советуют не выходить за него, потому что он картежник и большой пьяница. Иванов напомнил, что он ей объявил о всех своих недостатках в первой же беседе; он указал ей, что и она просила его не верить разным слухам о ней. Тогда Настя повторила, что она любит его и что слухи для нее ничего не значат. Опять было все забыто! Опять родное сердце ему принадлежит! На прощанье Настя дала ему поцелуй.

От нее Иванов, вполне убежденный, что будет ее мужем, отправился на свадьбу Чигорина. Вечер, ночь и утро следующего дня Иванов проведет на свадьбе. За хлопотами, так как он был распорядителем, время прошло ни скучно, ни весело. Но разоблачения насчет Насти сыпались со всех сторон. Самая честная из заводских девушек, Катя, подтвердила связь Насти с буфетчиком и прижила от него ребенка; еще одна кумушка уверяла Иванова, что и после знакомства с ним к Насте ходил буфетчик и даже, вероятно, был у нее в эту ночь, так как утром видели какого-то мужчину, выходящего из ее дома. Иванов и страдал, и не верил... Ведь толки в этом роде преследовали его с самого начала, а он, несмотря на них, был так счастлив с Настей! Вот только dokonчит он свои обязанности распорядителя, пойдет к Насте, увидит ее, и все рассеется.

И, наконец, он направился к знакомому мезонину.

По многим причинам я нахожу несообразным заключение, будто Иванов шел к Насте с намерением учинить с ней расправу и едва ли уже и не с мыслью убить ее. Ничего подобного не было. Прежде всего я вспоминаю вполне искренние и верные слова Иванова: «Во всем и всегда — не в одном этом преступлении — действовал под первым впечатлением. Много страдал от горячности. Редко удавалось исправлять ошибки свои, но всегда сознавал их». Да не таково было и душевное настроение Иванова, чтоб, направляясь к Насте, он бы уже готовился к роли мстителя. Слишком для этого у него болело сердце. Подозрения против Насти не были для него новостью, и, однако же, он каждый раз излечивался от них, при одном взгляде на Настю, при одном ее слове. Теперь, более чем когда-либо прежде, он нуждался в этом взгляде и в этом слове. Если он шел мрачным, так потому, что на душе было трудно. Он верил, что его страдающее, недовольное лицо вызовет ее живость и ласковость. Он был угрюм, он мог рассчитывать на резкое объяснение, на ссору, но только — на ссору возлюбленных, которая впоследствии еще больше сближает. Он жаждал ее искренности, ее, еще не отнятой у него, любви, которая его во всем примиряла.

Но для того чтобы понять то, что его ожидало у Насти, вспомним, что уже дня за три перед тем Настя, как говорится, «начала играть назад». Ослепленный Иванов мог испытывать только самые туманные и скоропроходящие

предчувствия; он постоянно возвращался к надежде, он слишком сильно любил, чтобы верить своему горю. Но нам-то теперь ясно видно, что в действительности Настя от него ускользала. Не такова она была в первые три дня, как в три последние: тут она заговорила и об отсрочке свадьбы и о недостатках жениха, о которых знала с самого начала, не придавая им прежде всего никакого значения. Это уже было не то!.. Но почему? Нам думается потому, что Настя своим здоровым инстинктом вполне обыкновенной и непритязательной женщины успела почувствовать, что эта выпретенная, приподнятая любовь к ней жениха приходится ей как-то не по мерке и не сулит ей ни добра, ни спокойствия в будущем. Она думала найти более простое счастье. Она бы полюбила Иванова, и простила ему заурядные недостатки чернорабочего, и сумела бы с ним терпеть нужду, и была бы рада случаю «пристроиться». Но она угадывала, что Иванов — «не ее поля ягода» и что ему и мерещится-то в ней совсем не то, что в ней есть. И она сообразила, что надо будет разойтись; она рассчитывала, что до пасхи понемногу дело само собой расстроится и что ей в конце концов лучше будет остаться покамест «при буфетчике». Ей предстояли поэтому большие неловкости, и она должна была поневоле взять на себя двойственную роль. Ей надо было после такого поощрения порвать с женихом, в котором — она это видела — чувство к ней слишком сильное, еще не обещавшее идти на убыль. Ей надо было самой убавлять это чувство, но делать это надо было с большой осторожностью. Она не рассчитала своих сил... Выражение любви, которое так легко ложилось на ее черты, когда ей помогало сердце, стало меньше и меньше удерживаться на ее лице: маска начала отклеиваться.... Вот к какой женщине направлялся Иванов со своим переполненным горечью сердцем, вот к кому входил с надеждой на душевное исцеление, как входят верующие во храм со своим горем.

Войдя, Иванов, к своей досаде, застал Настю не одну. Надо было с ней сейчас же поговорить, а тут были посторонние. В гостях у нее были две или три женщины, возвратившиеся со свадьбы, и она слушала их болтовню. Она подала ему руку, «не глядя на него». Это, конечно, увеличило его досаду, тревогу, нетерпение остаться наедине. Он попросил воды. Настя с «холодной миной» подала ему стакан. И это снова укололо его. Он примолк, и, кипя от гнева, уселся с маленьким Степой, чтобы дать понять присутствующим, что он пришел не к ним и не намерен слушать их пьяные речи. Но и это не подействовало. Подвыпившие бабы начали плясать с «животной» улыбкой, а Настя, глядя на них, от души хохотала. Иванов еще раз отпил воды... Его раздражали, его прямо раздражали, то есть отпускали большими дозами то самое «раздражение», о котором, рядом с «запальчивостью», говорит закон. Освирепевши, Иванов уставился пристальным взглядом на Настю. Она сначала не обращала на него внимания, но, наконец, заметила этот взгляд, и «должно быть», говорит Иванов, «тот взгляд был нехороший», потому и хохот, и пляска прекратились. До этой минуты решительное объяснение с Настей только мучительно откладывалось для Иванова, впрочем, уже с дурным предвещанием равнодушия и холодности со стороны невесты. Но и тут еще дело могло быть поправимо. Иванову, хотя и в последней степени раздражения, но все еще мерещилась его прежняя Настя,

любимая, хотя и в несколько непривычном для него освещении. Но вслед за прекращением пляски бабы завели развратные разговоры о получаемых ими от мужей удовольствиях, и Настя, чистая Настя, одобряла их своим идиотским хохотом! «По-видимому, ничто не ново для нее», — думал изумленный Иванов. Да, к своему ужасу, он это читал своими горящими глазами во всей ее фигуре, во всех чертах ее лица... Вот когда маска свалилась! Насте больше не было надобности выдавать себя скромницей и любящей женщиной... Бабы даже намекнули, что и Настя в эту самую ночь получила «удовольствие», и она только слабо возражала или засмеялась — ничего более! Тогда, наконец, охрипшим голосом Иванов попросил Настю остаться с ним наедине. И она только нашлась ответить: «Кажется, у нас нет секретов»... Действительно, разве он сам всего не видел? Он так мучительно жаждал и ожидал решительного объяснения, а невеста не видит в том даже никакой надобности!

Тогда он с криком потребовал, чтобы Настя осталась с ним для объяснения. Бабы струсили и вышли... Настя присела на стул. Начался допрос. Иванов излил все, что у него накопилось... Но на все его обвинения, высказанные прерывающимся от гнева и ревности голосом, Настя только молчала и как-то гадко улыбалась. Нестерпимо больно становилось Иванову! Ведь он любил Настю, любил даже в эту минуту! Ведь этот ни с чем не сравнимый образ, ведь это невыразимо дорогое существо врезалось в его мозг и сердце. Он горел и жил Настей, как в бреду, всю неделю: Настя к нему уже приросла, ее жизнь билась в его крови, хотя между ними и не было связи. Отдирать ее от себя — значило то же, что резать самого себя! Ведь это одно из тех мучений, которым мало равных на свете! Он и ревнует, и негодует, и видит, что его чистая Настя уже погибла, и он оскорбляет эту другую — сидящую перед ним, — но все еще он будто за что-то цепляется, ждет, безумно надеется, что она попросит пощады, что она каким-то чудом не ускользнет от него. Ведь так недавно... еще вчера... она его любила! Но вот Настя встала со стула, вышла на середину комнаты и в театральной позе, с поднятыми руками, сказала: «Боже мой, если я такая худая, как и мать моя, что вы хотите? Уходите тогда, оставьте меня в покое». Этот поворот объяснения был самым ужасным: от этих именно слов Насти дело так страшно быстро пошло к концу. «Как! Тебе это так легко? Ведь ты меня любила...» — «Нет, вы мне только нравились». — «Ты меня не целовала?» — «Нет!» Он «заскрипел зубами». Можно сказать, что только в эти секунды дикий зверь стал просыпаться в этом замученной до последней возможности человеке с его огненной кровью, с буйным характером и в то же время с его высоко нравственными требованиями от женщины... Тогда-то совершенно внезапно настал конец. Тогда на искаженном лице Иванова Настя вдруг прочитала свою гибель. Она с ужасом закричала: «Уходите!» Иванов спросил в последний раз: «Ты меня гонишь?» (нож был уже у него в руке: вот только когда этот нож, как змей, проскользнул в его руку). — «Да, убирайтесь вон». — «Умри же, несчастная!»...

Настя прожила всего несколько минут после нанесенного ей удара в сердце. Мне, кажется, нечего разьяснять вопрос о ноже. Доказано, что нож не был «припасен» Ивановым, что он издавна и постоянно был у него в кармане. Это орудие только облегчило убийство, только помогло несчастью. Он сам

бросился в пропасть. Видно, уж очень великая, непреодолимая сила его толкнула! Не судите его по мерке ваших чувств, не требуйте от него вашей рассудительности, вспомните, что он родился от матери, зарезавшей его брата. Да и вообще ведайте, что неодинаково бьется и чувствует сердце людское: в каждом есть свои счастливые и несчастливые особенности.

Выражаясь самым широким образом, можно только признать, что Иванов совершил свое преступление под влиянием страсти, под властью любви, воспаленной счастьем, которым его одарила любимая им женщина, которое проникло во все его существо до мозга костей с нестерпимой для него болью словами Насти: «Уходите вон!» Можно сказать без особого преувеличения, что этими словами, означавшими неожиданный и полный разрыв, Настя вонзила острый нож в сердце Иванова ранее, чем он вонзил в ее сердце свой нож. Только никто не видел раны Иванова, ее нельзя измерить дюймами, и никто не может судить о ее болезненности. И он в этом случае, быть может, сам защищался от ужасающей боли, а нам кажется, что нападал первый.

Когда смертельно раненая Настя выбежала из комнаты, Иванов — уже убийца — с видимым спокойствием сел за стол. Но в действительности он находился в оцепенении. Зажатая рука долго держала нож. Наконец, Иванов его отбросил. И тотчас же холодная мысль явилась ему отчетливо доложить, что вот и теперь, по своему обыкновению, он сделал совершенно ненужную «подлость». Он с тупой покорностью выслушал эти свои безотрадные мысли. Он к ним привык. Он только знал, что поступка ужаснее, что теперь случилось, он никогда еще не делал. Когда через несколько минут ему сказали, что Настя умерла, он побежал проститься с нею, поцеловал ее и заплакал со словами: «Как я тебя любил!» Это было не более, как невольное размягчение нервов, — реакция после напряжения: это был последний обрывок того любовного бреда, из которого он не выходил столько дней. Прорезанное сердце Насти еще несколько минут тому назад, казалось, билось одной жизнью с его собственным сердцем. В слезах своих Иванов вылил из души навсегда последние трепетания своего обманчивого и обманутого чувства к Насте. Теперь он более не жалел ее. Он в этом случае точь-в-точь напоминает толстовского Позднышева из «Крейцеровой сонаты». Ни к себе, ни к убитой не испытывает он особенной жалости. Себя он судил строго, и не думайте, чтобы это было лицемерие. Напротив, он вовсе не лицемерен, и наказание, по его понятиям, дело неизбежное. И он не столько занят собой и своей жертвой, сколько мучается над вопросом: из-за чего, например, вот он теперь погиб?..

Конечно, он погиб из-за любовной страсти, из-за того чувства, которое так часто и громко заявляет о себе в процессах и над которым так мучительно думал Толстой, когда писал свою «Крейцерову сонату». К чему же пришел знаменитый писатель? Он нашел, что единственное средство избежать бедствий и преступлений от любви — это совершенно и навсегда отказаться мужчинам от женщин. Легко ли сказать? Единственное возможное средство, и то — невозможное. Значит, дело не так просто. Многие благородные мыслители предлагают теперь заняться очищением нравов посредством целомудренного воспитания. Но Иванов созрел ранее этих благих начинаний; к тому же он име-

ет болезненно-пылкую кровь. Да еще и неизвестно, насколько поможет горю проповедь борьбы со страстями. Не глубже ли сказал Пушкин: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет!». Впрочем, говорят, есть защита: наказание... Попробуйте его. Возьмите в свою власть мудреную личность Иванова и на все его недоумения над противоречиями жизни, на все тревоги его буйного, но хорошего сердца — ответьте обвинительным приговором. И когда это дело будет для вас уже вполне ясно, тогда, чтобы воздержаться от излишней строгости, вспомните только письмо Клары, полученное Ивановым уже в тюрьме: «Не понимаю, каким образом такой добрый человек, как ты, мог совершить такое страшное преступление».

Иванов был признан виновным в умышленном убийстве без заранее обдуманного намерения и приговорен к шести годам каторжных работ.

РЕЧЬ Н.П. КАРАБЧЕВСКОГО ПО ДЕЛУ БРАТЬЕВ СКИТСКИХ (в извлечении)

Краткий комментарий к речи

Дело по обвинению братьев Скитских в убийстве Комарова рассматривалось трижды. Последний раз рассмотрение его происходило в Полтаве Особым присутствием Судебной палаты. Сложность его заключается в том, что ни одного факта, прямо свидетельствующего о совершении этого преступления привлеченными по делу обвиняемыми, в распоряжении обвинительной власти не имелось. Однако анализ многих улик косвенно указывал на возможность совершения преступления братьями Скитскими. В защитительной речи весьма подробно рассматриваются как обстоятельства, уличающие, по мнению обвинительной власти, Скитских в совершении преступления, так и факты, идущие в разрез с формулировкой обвинительного заключения. Защитником в его речи также довольно подробно рассмотрены и обстоятельства дела в целом, в связи с чем эти обстоятельства не нуждаются в специальном изложении.

Господа судьи и сословные представители!

Мне предстоит произвести перед вами защитительную речь, а между тем я хотел бы забыть в эту минуту о том, что есть на свете «судебное красноречие» и «ораторское искусство». По академическому определению, это «искусство» заключается в том, чтобы путем возможно меньшего напряжения усилия слушателей передать им свои мысли и чувства, навязать им свое настроение, достигнув заранее намеченного эффекта. Обыкновенно не брезгают для этого и внешними суррогатами вдохновения: приподнятым тоном, побрякушками остроумия и фразой. В том мучительном напряжении, которое всеми нами владеет, мне было бы стыдно заниматься здесь «искусством», расставлять в виде ловушек «эффекты» и развлекать ваше внимание в ту минуту, когда простая истина ищет и так трагически не находит себе выход. Если бы я был косноязычным, я сказал бы вам то же, что скажу сейчас!

Если у вас созрело решение — вы должны продумать его заново, если необходимо, передумать вновь — вы должны сделать и это! По формуле закона, воистину, « всю силу своего разума » должны приложить вы к разрешению этого дела. Нам не нужна вашей интимной правды, случайного личного убеждения отдельного судьи, бог знает, из чего зародившегося, откуда к нему подкравшегося. Нам нужна гласная широкая оценка вашей совестью только «видимых» условий дела, только достоверных, доказанных его обстоятельств. Лишь при этом условии все общество, взволнованное и потрясенное беспримерной судьбой этого загадочного дела, как один человек, с облегченной душой подпишется под вашим приговором...

Суд и осуждение близки! в этой истине столько же нравственной глубины, сколько и практической мудрости. При известном стечении внешних обстоятельств и условных веяний подвиг самооправдания также труден для не-

винного, как и для виновного. И для того и для другого формы и условия те же. Им одинаково не верят, они одинаково сидят на скамье подсудимых, которая имеет свою особую, не написанную еще психологию. Этого не должен забыть ни один судья. Соблазн осудить, когда самоуверенно судишь, очень велик. А кто же судит не самоуверенно? История настоящего процесса в этом отношении особенно поучительна. Первый оправдательный приговор, доставшийся с таким трудом судейской совести, ничего не стоило смахнуть простой кассацией. После того обвинительное напряжение достигло высшей степени, понеслось во всем своем разбеге. Казалось безумием остановить его, таким же почти безумием, как пытаться одним внешним усилием остановить разбег несущегося по рельсам локомотива.

Мне могут возразить. Однако ведь защита — естественная форма противодействия обвинению! Вы намеренно прикрываетесь бессилием, умаляя процессуальное значение защиты. Состязание сторон разве не ведется равным оружием? Разве вы не пользовались и здесь на суде всеми гарантиями, всей полнотой ваших прав? На скрижалях судебных уставов разве не начертано: «обвинение и защита равноправны»?

Вот ходячее заблуждение, которое не вызовет улыбки только потому, что вызывает грусть.

Если бы уже на предварительном следствии мы имели права, равные правам обвинения, мы не предстали бы перед вами с пустыми руками. Мы исследовали бы целый ряд параллельных с обвинением, направляющихся версий преступления, и кто знает, сидели бы Скитские на скамье подсудимых? А теперь получается картина странная, хаотическая: кому верить, на чем остановиться. Разве скопление случайностей, подозрительных черточек и уличающих штрихов сплетается и теперь исключительно только против Скитских? Разве дефекты полицейского рвения и страшной халатности предварительного следствия не говорят сами за себя, не призывают чуткую душу судьи к вящей осторожности?

Мы уже знаем, что в самый день похорон Комарова Степан Скитский был арестован. Тем не менее следственные поиски разом прекратились, и стали собирать улики только против Скитских. Я удивляюсь, что их собрали еще так мало, так как знаю, что на первых порах полицейским рвением легко смутить даже чистую, но слабую свидетельскую душу.

Припомните показания свидетеля Головкова и объяснение Петра Скитского. Бывший полтавский полицеймейстер Иванов на том основании, что они «не дворяне», объяснялся с ними весьма энергично. Он имел, по-видимому, повадку в подобных случаях жестикулировать кулаком более выразительно, чем это обыкновенно принято. Рядом с этим тот же Иванов так детски доверчиво, с такой наивностью считал собранные против Скитских улики неотразимыми и насчитал их столько даже здесь на суде (кровь, волосы, колбасу, веревку и т.д.), что на его показании, как на судебном доказательстве, даже обвинителям пришлось ставить крест. Иванов ничего нам не дал здесь, кроме своей, совершенно очевидной судебно-политической наивности, а между тем на предварительном следствии все охотно верили ему, он «корни и нити» всего дела держит твердо

в руках. Из уст в уста переходили сведения об открытых ими «важных уликах», слагались и целые легенды о добытых им «агентурным путем» сведениях. На суде эти «агентурные сведения», как и следовало ожидать, превратились в простые бабьи сплетни, тут же и опровергнутые.

По поводу полицейской проделки с подсаживанием сыщика в образе арестанта к Петру Скитскому, проделки, предпринятой, к сожалению, с ведома, если не одобрения, следственной и прокурорской власти, — пошел целый гул по Полтаве. Девушка Прохорова и преосвященный говорили нам, что даже сами читали копию записки Петра Скитского к брату и в ней была именно «страшная» улика против Скитских. В ней говорилось о проклятии за сознание за нарушение клятвы по совершению преступления. Сам Иванов не посмел, однако, здесь воспроизвести нам подобного текста записки. Этот свидетель, согласно с утверждением Червовенко, удостоверил совершенно иное содержание записки: «Если ты убил Комарова, я тебе не брат. Проклинаю тебя». Это был оправдательный документ для Петра Скитского, а не «страшная» улика. Записка затем пропала, вероятно, в качестве «ненужной бумажки». Но она сделала свое страшное и злое дело на предварительном следствии!

Ближайшими сотрудниками Иванова, как известно, были два полицейских пристава Царенко и Семенов. Втроем они были первыми каменщиками, положившими фундамент. Вы имели возможность и наблюдать и составить себе надлежащее представление о характеристике их сыскной прозорливости. Царенко говорил нам, что у них 15 июля состоялось даже особое совещание под председательством полицеймейстера Иванова для выработки «общего плана» действий. Сказано недурно, но кончилось это совещание тем, что Царенко, переодевшись в штатское платье, и Семенов — в полицейский мундир, поехали к месту нахождения трупа послушать, что говорит «народ», и вообще поискать счастья. Народ безмолвствовал, счастья им никакого не подвернулось, но Комарова высказывала свои подозрения на Скитских, и Иванову в связи с подоспевшими к нему откуда-то вдруг «агентурными сведениями» вопрос показался решенным и ясным до очевидности.

Тщетно мы старались узнать от Иванова, по крайней мере, источник его агентурных тайн. Ему было разрешено не обнаруживать своих профессиональных секретов. Но этот секрет мы сами могли бы открыть Иванову. Широко организованное агентурное дело, организованный сыск, и где же — в мирной и тихой Полтаве. В Петербурге у нас едва-едва организована сыскная часть. Ведь Полтава — не Париж! В деле Дрейфуса могли опираться на агентурные сведения, а здесь о них говорить даже смешно. Иванов только верен себе. Он, как проявилось это на суде, удивительно наклонен на людях все обставлять торжественностью официальности. Если бы он мог сохранить эту свою черту и на дознании при допросе свидетеля Головкова и обвиняемого Петра Скитского, было бы гораздо лучше.

Что сказать о правой руке Иванова, о Царенко? Он знает не много истин, но зато уж помнит их твердо: купаться надо ходить всегда ближайшим путем, колбасу покупать привозную, московскую, а не у Лангера, веревку для удушения ближнего надо брать свою, а не пользоваться казенной... Если гражданином

не соблюдены все эти предосторожности, пусть он пеняет на судьбу или на себя, но не запирается в преступлении и, главное, не претендует на начальство за то, что его засадили в тюрьму.

Наконец, последний из трех полицейских чиновников Семенов внес в дело одно весьма тонкое и ценное соображение. Он первый бесповоротно решил, что преступников было именно двое, а не менее и не более. На этом утвердилось и следствие. Не характер насилия над трупом и все тонкости судебно-медицинской экспертизы (это Семенов, заодно с водолечением по способу Кнейпа, вероятно, считает «философией») привели его к такому умозаключению! Нет, его осенила простая житейская сообразительность. Водка и закуска в месте «засады» найдены в таком друг от друга соотношении и на таком расстоянии, что одному человеку было бы никак невозможно одновременно дотянуться до водки и до закуски. Очевидно, в засаде сидело двое. Гениальное открытие! Оно, без сомнения, могло возникнуть только на благодатной почве бессмертного гоголевского Пацюка, которому, как известно, вареники, и притом обмакнутые в сметану, сами летели в рот.

Вот впечатления полицейских чиновников, о которых здесь столь красноречиво и серьезно повествовали нам, вот тот клубок своеобразных улик и подозрений, которые нам приходится разматывать.

Вы произвели, судьи, огромную затрату сил. И что же? При окончании следствия я чувствовал себя неудовлетворенным. Не могли не чувствовать неудовлетворенность и вы. Чувствовалось одно: надо бы начать все сначала. Но сначала — уже невозможно. Русло проложено — следствие течет и журчит, убаюкивая и усыпляя. Потребовался бы воистину умственный и нравственный труд, чтобы сказать себе прямо и откровенно: все это никуда не годится, надо на всем поставить крест. И вот для ленивого ума раздолье: расчищенное почетное место всему, подтверждающему версию о Скитских, мрачное подозрение и голосование, отрицание всего остального. При таких условиях, конечно, обвинить возможно. Ваше пытливое и внимательное изучение дела, однако, подыскивает иной приговор, иную точку зрения. Вы не успокойтесь, пока ваш разум и ваша колеблющаяся совесть не совершит всего круговорота раз начавшегося пытливого движения мысли, пока вы сами не положите этой мучительной работе конца словами: «Довольно! Мы в заколдованном кругу! Дойдя до конца, мы снова у начала! И мы действительно у самого начала. Чем исключены предположения о целом ряде лиц, которые так же, как и Скитские, могли быть виновниками убийства?».

...В поисках за тем, кто мог желать смерти Комарова, кто еще мог питать к нему злобные и мстительные чувства, нам неожиданно весьма помог поверенный гражданской истицы. Он широко очертил круг лиц, питавших, по его мнению, непобедимую ненависть к рьяному секретарю полтавской консистории.

По словам поверенного гражданской истицы, все сельское духовенство, весь низший круг лиц подчиненной ему епархии жестоко страдал от стремительного самовластия, от непреклонной и самоуверенной энергии молодого секретаря. Сам преосвященный Илларион вынужден был признать, что рядом

со всевозможными достоинствами Комарова, как должностного лица, он бывал нетерпелив, резок и раздражителен. Воспрещение благочинным входа в консисторию, в то время, когда по уставу они имеют право даже присутствовать там, почиталось всеми распоряжением едва ли законным, во всяком случае бестактным и оскорбительным для чести отцов благочинных. Вспомните сорок человек одних уволенных чинов консистории за три года его секретарства и вы согласитесь, что врагов у него, помимо Скитского, был непочатый угол. Припомните, наконец, характерные черты его отношения к некоторым служащим. У одного, собирающегося жениться, он ни с того ни с сего требует удостоверения врача о том, что он не страдает сифилисом. Тот оскорбляется и уходит. Бывшего столоначальника, молодого человека, некоего Александровского, он, по словам свидетеля Головкова, своим презрительным и высокомерным отношением доводит до того, что этот несчастный, с трясущимися руками, по часам простаивает у дверей его кабинета, не смея войти. Вскоре он также оставляет службу.

К Скитским Комаров в сущности был даже милостив. За пьянство он, например, не взыскивал, и Петру даже, спустя год, прибавил жалованья. Со Степаном Скитским он был в ладах вплоть до января 1897 года. По словам свидетеля Просянина, если он иногда и замечал Степану Скитскому, то тут же всегда отечески прибавлял: «Только слушайте меня, и вам будет хорошо!». Степан Скитский вырос и воспитывался в условиях безропотного подчинения, и откуда бы у него взялся тот бешеный порыв к протесту на сорок пятом году жизни, чтобы, забыв обо всем, рискнуть всем? Его окружала мирная среда: дочь, посещавшая гимназию, любящая жена! Да откуда было взяться у него «непреодолимой» вражде к Комарову? Ведь Комаров сам отличал Скитского весьма долгое время, назначая его своим заместителем на время отъездов, устроив его на место казначея, почти против желания архиерея. Самая провинность, из-за которой Степан Скитский был лишен награды, не показывает ли, что Комаров только в припадке раздражения настоял на своем и заговорил о перемещении Степана Скитского вновь на должность столоначальника затем только, чтобы припугнуть его своей немилостью.

Степан Скитский мог не тревожиться. Было известно, что архиерей на это не согласился и вообще находил тогда и самые провинности Скитского не столь значительными. И действительно, в чем они заключались? Он «испортил» служебный год Комарову тем, что не изготовил ведомости к 1 января. Но, по словам преосвященного, заняв должность казначея лишь с ноября месяца предыдущего года, было бы и мудрено составить ведомость к сроку. Другая провинность состояла в денежном недочете. Сначала это встревожило и самого Скитского, взволновало и епархиальное начальство. Но вскоре, как это нам опять-таки удостоверил преосвященный Илларион, недочет оказался в полторы копейки, и то не по вине казначея.

При таких условиях не вполне ли был Скитский, даже если допустить, что он возмутился несправедливым отношением к себе Комарова — рассчитывал на то, что по жалобе прокурора придирчивость секретаря может быть обнаружена и его служебное рвение будет введено в границы законности. Ведь о желании своем жаловаться он говорил всем и каждому. Знал об этом архиерей,

узнал и Комаров. Преосвященный, правда, убеждал его «остановить это», «помириться» с Комаровым, и на первых порах Скитский отвечал ему: «Не могу, как угодно вашему преосвященному!». Но, в сущности, не добрый ли это был знак для Скитского? Не предвещало ли это, что отношения с Комаровым восстановятся непременно, раз сам владыка желал такого примирения и склонял к нему. Для Скитского далеко не все было потеряно. Припомните по этому же поводу одно из писем Комаровой к матери своей, Будаевской. Она именно рассказывает об этом инциденте матери, причем все время нежно называет Скитского «Степой». Смысл всего письма таков: «Взъерошился внезапно, мол Степа, но все уладится, пройдет!» Где же непобедимая ненависть или безвыходность положения для Скитского? Если последнее разуместь в материальном отношении, то и тут нет правды. В городе все знали Скитского за дельного, смышленного и честного работника. Достаточно сказать, что после первого своего оправдания он тотчас же нашел себе место, с жалованием не меньше консисторского, с этого места и взяли его опять в тюрьму после кассации.

Итак, что бы ни говорили, если бы даже убийцы Комарова были из жизни из консисторских или из духовенства — Степана Скитского нечего выдвигать в качестве наизлейшего и притом единственного «врага Комарова». Если даже убийство имело действительное место на этой почве — на почве «служебной мести», — Степан Скитский был слишком умен и слишком на виду для того, чтобы на него мог пасть выбор стать палачом Комарова.

О Петре Скитском я уже не говорю — по самой своей нравственной природе он палачи не годится.

Возьмем теперь другой круг лиц, близко соприкасающихся с консисторией и ее порядками, встретивших в лице Комарова своего непримиримого гонителя и противника. Я говорю о разного вида и сорта бракоразводных дельцах, начиная с заезжих темных личностей в качестве «специалистов-поверенных» по бракоразводным делам и личностей вроде Бабы-Чубар, промышлявших перспективами, открывавшимися им в замочные скважины и дверные щели. Ведь надо же вдуматься, с каким омутом лжи, преступности, грязи мы в подобных случаях имеем дело! Почему на поверхность одного из подобных омутов не мог всплыть труп принципиального противника брачных расторжений Комарова? Почему его убийство не могло быть делом наемных рук? Куши, которыми оперировали бракоразводные дельцы, низменные люди, которые рвались за этими кушами, неодолимые преграды, которые вечно ставил Комаров благополучному и скорому завершению подобных предприятий — не говорят ли за то, что и на этой почве мы наталкиваемся на мотивы и побуждения, заслуживающие самого пристального и серьезного внимания.

Ливен, например, прямо утверждает, что Комаров убит именно благодаря его бракоразводному процессу, которому он не дал закончиться благоприятно, несмотря на огромные деньги, затраченные противной стороной. Но пусть Ливен ошибается. Разве это был единственный бракоразводный процесс богатых людей в Полтаве? Вспомните характерное дело супругов Тржецяк и упорное воздействие на ход этого процесса со стороны Комарова. Тржецяк, богатая женщина, желала вступить в новый брак. В этом был заинтересован и некий

Шуберт. Духовные отцы признали брак подлежащим расторжению, но Комаров вошел с энергичным протестом к преосвященному, и развод не был утвержден...

Довольно, однако, предположений, они в сущности бесплодны. Я выдвинул их лишь для того, чтобы наглядно опровергнуть довод обвинения: Скитские, — ибо больше некому! Как видите, это не аргумент, с ним серьезно считаться не приходится, обстановка убийства Комарова, если вдуматься в нее, так неясна, так неуловимо таинственна и вместе с тем так, по-видимому, проста, что невольно теряешь голову. Мечешься между Сциллой и Харибдой: или тут простой, легко удавшийся случай самого банального убийства случайных грабителей (вспомните похищенные часы!) или, наоборот, налицо тонкий математический расчет, ловко выполненная казнь умелыми, бесстрастными руками. Был человек на дороге, на мостике, почти подходил к своей даче и вдруг... мертвый в кустах. При этом дорога, несомненно, битая, проезжая. Мы поднимали целое облако пыли, когда ехали с вами по ней на осмотр. В сорока саженях косил сено Петр Бондаренко, немного дальше Кошевой набирал воду в пруду — и ни звука, ни крика, точно сам Комаров подставляет шею петле. Согласитесь, что все это наводит на размышления. С точки зрения невозможности именно для Скитских совершить это преступление размышления эти разрастаются уже в целый лес, непроходимый лес сомнений.

Одно, что мы твердо и несомненно знаем — это то, что труп Комарова оказался всего в двадцати двух шагах от мостика. Допускаю, что его не могли волочить или переносить на далекое пространство. Но которое бы из трех ни избирали мы заключение экспертов: удушение, удушение или шок от насилия, надо же попытаться дать себе, по крайней мере, ясное представление о том, как и где это могло произойти.

На самой дороге, видимой отовсюду, не сохранившей уже через полчаса, когда проходила Комарова, ни малейших следов падения тела или борьбы, самое удушение, шок или удушение не могли произойти. Хоть несколько шагов в сторону (по направлению к лесу, вероятно, добровольно приманенный кем-либо) да сделал же Комаров. Как бы ловко и проворно ни выскочили злоумышленники из засады на открытую дорогу, он был их услышал и увидел, успел бы метнуться в сторону, выхватил револьвер или закричал, особенно зная, что его только что обогнал водовоз, который неподалеку набирает воду у пруда. Для меня более чем очевидно, что Комаров, пройдя мостик, сошел с дороги. Это могло случиться вполне естественно, если он сам условился с кем-либо встретиться.

В консистории по делам службы он никого не принимал, на дачу также, быть может, не хотел никого приглашать, но мог не отказать кому-нибудь перекинуться с ним несколькими словами, пройдя вместе несколько шагов или присев под тенью на несколько минут. Вспомните деловое посещение Терентьевым дачи Комарова; могли быть и другие столь же заинтересованные в исходе своих дел неотступные просители. Если допустить на секунду правдивость такого объяснения, тогда же займут свое надлежащее место два, по-видимому, необъяснимых обстоятельства, фактическая достоверность которых, однако же,

несомненна. Я говорю о показаниях Комаровой и свидетеля Крыся. Первая удостоверяет, что за все лето 14 июля в первый раз муж настойчиво просил его не встречать. Раз это была совершенно исключительная и вполне необычная настойчивость, очевидно, был для нее и известный мотив. Назначив кому-либо встречу у мостика, он естественно мог не желать, чтобы жена присутствовала при этом.

Теперь возьмите показание Крыся, к которому на первых порах мы все относились почему-то с таким недоверием. Не таится ли в его показании разгадка именно того, о чем я веду речь. Выйдя на поворот дороги и заведя ужу издали мостик Комаров встречает Крыся и с ним здоровается. Он знает, что за мостиком его ждут, что жена не выйдет навстречу, быть может, у него в эту секунду внезапно шевельнулось сомнение относительно благонадежности лица, которому он неосторожно назначил свидание, и вот он на ходу говорит Крысю: «Жена что-то не вышла навстречу, постой, пока перебегут собаки дорогу, и я пойду к мостику!» Крысь посмотрел ему вслед несколько минут, видит, секретарь бодро зашагал уже по мостику. Крысь повернулся и пошел своей дорогой в город. Именно, ожидая условной встречи, Комаров мог поопаситься и намеренно задержать Крыся: все-таки живой человек неподалеку!

Самое убийство должно было его застигнуть, когда он уже успокоился, оставил всякую мысль об опасности. Всего вероятнее, что он даже присел и был уже во всяком случае не на ходу, так как никаких серьезных следов борьбы на теле его не имеется. Револьвер его остался спокойно лежать в кармане пиджака; его у него не выбили и не вырвали. Очевидно, ему разом зажали рот и придушили, чтобы он не успел и пикнуть. Но сделать это возможно только тогда, когда жертва в более или менее удобном и спокойном положении относительно нападающих. К этой формуле подойдут выводы обоих профессоров судебной медицины — и Патенко, и Оболонского. Рот зажать нужно было во всяком случае, чтобы жертва не кричала, и насилие, произведенное тем, что на него навалились с такой силой, что сломали два ребра могло вызвать нервный «шок» и паралич сердца, как непосредственную причину смерти. Признаки обоих этих факторов устанавливаются, по словам экспертов, объективными данными осмотра и вскрытия трупа. Веревка намотана была уже, очевидно, после этого или для пущей верности задушения, или для отвода глаз в виде якобы эмблемы неслучайной расправы. Во всяком случае профессора-эксперты наглядно нас убедили в том, что веревка не послужила для удушения, ибо strangulation от нее полоса оказалась не прижизненного происхождения.

Если такова возможная картина преступления, если убийство не могло совершиться иначе, как путем приманки в засаду Комарова, если все нам говорит, что рядом с предназначенной рассчитанностью была несомненная чистота выполнения его, этим самым опровергается обвинение, направленное против Скитских, потому что мы знаем, что при подобных условиях самая физическая невозможность совершения ими преступления представляется вполне доказанной...

Соблазн обвинить Скитских так велик, что не дает им даже достаточно времени, чтобы проявить свою преступность. Бежали, убили, скрылись! — но

как? когда? Имели ли он на это возможность и время? Все это нас как-то мало интересует.

Я мог бы еще поговорить об уликах так называемого психологического характера. Но на этот раз о них говорилось мало и неохотно. Оно и понятно. Все это уже жевано и пережевано. Двумя резкими гранями надо, однако, отметить поведение Степана Скитского. Я беру только два самых достоверных свидетельских показания: показание начальника почтовой конторы Глаголева и показание редактора епархиальных ведомств Ковалевского. Оба — люди интеллигентные и на их наблюдательность, казалось бы, можно положиться. Первый видел Степана Скитского ровно за час до предполагаемого совершения им преступления, второй — на другой день, когда труп Комарова не был еще разыскан и когда предположение об убийстве его еще носилось в воздухе. Глаголев положительно отвергает мысль об убийстве Скитскими Комарова именно на основании своих наблюдений над Степаном Скитским. Этот был в совершенно нормальном состоянии, по обыкновению шутил, разговаривал с почтовыми чиновниками, никуда не торопился и ни в чем не проявил ни суетливости, ни, наоборот, растерянности или задумчивости. К Ковалевскому Степан Скитский пришел по служебным делам 15. Говорили, между прочим, о Комарове. Скитский не скрывал своих на него неудовольствий. Это немного смело! В доме повешенного не говорят обыкновенно о веревке. Если Скитский был убийцей Комарова и знал, что тот уже лежит мертвый в кустах, он бы остерегся хоть в эту минуту заново напомнить всем о своем недружелюбии к Комарову. Очевидно, самое недружелюбие это он ощущал в себе как явление обыденное, житейское, чуждое каких бы то ни было затаенных криминальных осложнений. Иначе о своих чувствах к Комарову он помолчал бы.

Имеются еще любопытные моменты, заслуживающие оценки. Это воздевание рук к небу и крестное знамение, когда он в монастыре впервые узнал от Молчанова о том, что Комаров найден удушенным. Затем его опьянение и якобы странное поведение в лавке Николаевой. Допустим серьезное чувство вражды у Степана Скитского к Комарову. Приходят и говорят такому человеку: «Тщеты твои жалобы, опасения и неудовольствия. Враг твой скончался!» Для человека религиозного, верующего, каким был всегда Степан Скитский — целая душевная драма. Во всяком случае, налицо сложный психологический момент, который не уступит, пожалуй, по своей сложности такому же моменту и в том случае, если бы Степан Скитский сам убил Комарова. В последнем случае он был бы более настороже.

Но вот в лавке Николаевой, уже зная о том, что труп Комарова найден, он, немного выпивший, снова и снова говорит о своих обидах и неудовольствиях на Комарова. Воля ваша — это не поведение убийцы!

С утра 16 его поведение уже совершенно иное, столько же понятное, сколько и определенное направление. Он — уже заподозренный и знает об этом. Протоиерей Мазанов ему прямо приказывает, по распоряжению преосвященного, никуда не отлучаться из консистории. Другими словами, ему не приказано идти и на похороны Комарова. От присутствовавших на похоронах он узнает, что в надгробном слове архипастыря делаются ясные намеки на то, что

именно он убийца. Требуйте душевного равновесия и спокойствия от кого угодно, но не от лица, очутившегося в подобном положении. Убийце легче было бы перенести все это, нежели невинному. Если Степан Скитский 16 вел себя действительно растерянно и был явно расстроен, то усмотреть в этом специфическую улику его проникновенности к убийству нет еще ни малейшего основания. Наоборот, то, что он ни от кого не скрывал и не пытался даже скрыть ни своего огорчения, ни своей растерянности, рисует нам его в нормальном положении человека, грубо, обидно, но невинно заподозренного.

О поведении Петра Скитского мне нечего сказать. Оно не представляется никому более подозрительным. Это был самый обыкновенный период запоя, доводивший его до беспамятства. Он и прежде им иногда страдал в течение нескольких дней подряд. Его запой, начавшийся с 13 июля, длился четыре дня и был прерван его арестом. В участке при полицейском натиске Иванова ему сделалось дурно... Надеюсь, что и это естественно. Из угара запоя, после невинных походов с приятелями по трактирам попасть прямо в «убийцы» и притом в переделку к Иванову — смутит хоть кого... Нервы Петра Скитского никогда не были крепки.

Я чувствую, что пора кончать, господа судьи! Но я боюсь кончать. Когда я кончу, — очередь ваша, очередь вашему приговору. Может наступить ужас, тот ужас, который мы уже пережили однажды. Неужели это на самом деле возможно? Суд и осуждение близки, но закон не хочет, не требует от вас невозможного. В подобных случаях он, наоборот, сам приходит вам на помощь, сам бережет вас. Вам ли, юристам-судьям, напомнить мне об этом? Самонадеянность всегда слепа. Сомнение же — спутник разума. Сказать, что в этом деле все для вас ясно и нет сомнений, вы не можете... Я прошу у вас для Скитских оправдательного приговора.

Братья Скитские были оправданы.

РЕЧЬ Ф.Н. ПЛЕВАКО ПО ДЕЛУ РАБОЧИХ КОНШИНСКОЙ ФАБРИКИ (в извлечении)

Краткий комментарий к речи

По данному делу было привлечено к судебной ответственности несколько десятков человек — рабочих Коншинской фабрики г. Серпухова. Обвиняемым вменялось в вину участие в экономической стачке, призывы к приостановлению работы на соседней (Коштановской) фабрике, участие в разгроме ряда квартир высших фабричных служащих и в нанесении побоев...

Фактически обстоятельства настоящего «дела» таковы. Изнуренные непосильным трудом на фабрике, притеснениями со стороны фабриканта и его служащих, повседневными штрафами и т.д., рабочие Коншинской фабрики организовали стачку и предъявляли управляющему требования о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы, улучшении условий быта. Эти требования рабочих были отвергнуты, после чего они прекратили работу и организовали массовое шествие к управлению фабрикой. Вызванные из Серпухова отряды конных казаков, как говорится в одном из сообщений в печати по данному делу, «восстановили порядок обычными мерами». Группа арестованных казаками рабочих и была предана суду. Дело рассматривалось в Московской судебной палате 10-12 декабря 1897 г.

Как старший по возрасту между говорившими в защиту подсудимых товарищами, я осторожнее всех. Моя недлинная речь будет посвящена просьбе о снисходительном отношении к обвиняемым, если вы не разделите доводов, оспаривающих правильность законной оценки предполагаемых событий.

К этому прибавлю и просьбу, вызываемую особенными чертами этого дела.

Время, которое вы отдадите вниманию к моему слову, — это лучшее употребление его.

Когда на скамье сидят 40 человек, для которых сегодня поставлен роковой вопрос: быть ли и чувствовать себя завтра свободными, окруженными своими близкими, или утро встретит их картинами тюремной жизни, представлениями о безлюдных пустынях и, может быть, о зараженном миазмами воздухе отдаленных стран ссылки, — лишь потраченный час судейского времени — ваш долг, даже если бы слово мое оказалось излишним и несодержательным.

Пусть, если не суждено им избавиться от тяжелых кар, они уйдут с сознанием, что здесь их считают не за зараженный гурт, с которым расправляются средствами, рекомендуемыми ветеринарией и санитарями, а за людей, во имя которых здесь собрано это почтенное судилище, в защиту которых здесь велением закона допущено и слушается представительство защиты.

Особенный состав присутствия, установленный законом для данных дел, внушает мне смелую мысль воспользоваться благами, из того истекающими.

Простите, что хочу я внести не мир, а меч в сердце коллегии в минуту, когда она должна будет обсуждать дело. Я хочу говорить о тех условиях, кото-

рым должны быть верны представители сословий, когда начинается высказывание мнений по делу.

У вас, господа коронные судьи, масса опыта, — не к вам слово мое: не напоминать вам, а учиться у вас должны мы, младшие служители правосудия. Вы выработали для себя строго установленные приемы, точно колеи на широкой дороге, по которой гладко и ровно идет к цели судейское мышление.

Но законодатель ввел в состав ваш общественный элемент, конечно, не для подсчета голосов и внешнего декорума.

Вносится слово живой действительности, не исключенной в отвлеченный термин. Вносится непосредственность бытовых отношений, составляющих самую душу изучаемого дела.

И вот я прошу носителей этого непосредственного миропонимания не выезжать колесами в соблазняющие своей прямолинейностью колеи судейского опыта, а всеми силами отстаивать житейское значение фактов дела.

Есть у настоящего дела громадный недочет — люди жизни его понимают.

Совершенно деяние незаконное и нетерпимое — преступником была толпа.

А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе.

Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая: ту образовали массовые инстинкты, эту — следователи, обвинители.

Заразительность толпы продолжает действовать. Помня, что проступки совершены толпой, мы и здесь мало говорим об отдельных лицах, а все сказуемые, наиболее хлестко вырисовывающие буйство и движения массы, — приписываем толпе, скопищу, а не отдельным лицам.

А судим отдельных лиц: толпа, как толпа — ушла. Подумайте над этим явлением.

Толпа — это фактически существующее юридическое лицо. Гражданские законы не дают ей никаких прав, но 14 и 15 тома делают ей честь, внося ее имя на свои страницы.

В первом — толпе советуется расходиться по приглашению городских и чинно, держась правой стороны, чтобы не мешать друг другу, идти к своим домам (ст. 113, т. XIV Свода Законов).

Второй — грозит толпе карами закона.

Толпа — стихия, ничего общего не имеющая с отдельными лицами, в нее вошедшими.

Толпа — здание, лица — кирпичи. Из одних и тех же кирпичей создается и храм богу и тюрьма — жилище отверженных. Пред первым вы склоняете колена, от второй бежите с ужасом.

Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храмосозидательство, не отражая отталкивающих черт их прошлого назначения....

Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно правосудие — воздействие силой, пока она не рассеется. С толпой говорят залпами и любезничают штыком и нагайкой: против стихии нет другого средства. Толпа сама чудовище. Она не говорит и не плачет, а галдит и мычит. Она страшна, даже когда одушевлена

добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разрушать, или спешит встретить святыню народного почитания.

Так живое страшилище, внушит страх, когда оно, по-своему нежничая, звуками и движениями сзывает к себе своих детенышей.

Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов. В толпе богомольцев всегда ютятся и карманники. Применяя земные методы обвинения находящихся в толпе, вы впустите в рай вместе с пилигримами воров по профессии.

Толпа заражает, лица, в нее входящие, заражаются. Бить их — это все равно, что бороться с эпидемией, бичуя больных. Только рассмотрением улик, вытесняющих намерения и поступки отдельных участников толпы, вы выполните требование закона. Здесь вам доказывали, что не было стачки. А если была? Тогда выступает вопрос о целях стачки.

Доказано, что часть требований была законна и удовлетворена. Доказывали, что и все требования были законны, в том числе и спорный вопрос о прекращении работ перед праздниками ко времени церковного богослужения.

Я же допускаю, что последнее требование не было законно. Я допускаю, что базарные инстинкты взяли верх над духовными, и уже давно заповедь о посвящении субботы богу (хотя бы со всеобщего бдения) отменена другой, гласящей, что суббота — время чистки машин на фабриках.

Спорить не будем против законности господствующего инстинкта, но не откажем виноватым в снисхождении за увлечение святыми, но отживающими в сознании хозяев идеалами.

Скажем только, что они жестоко ошибаются, урывая время у осатаневшего от цельного труда рабочего. Церковь — это место подъема духа у забитого жизнью, возрождение нравственных заповедей, самосознания и любви.

Там он слышит, что и он человек, что перед богом есть эллин или иудей, что перед ним царь и раб в равном достоинстве, что церковь не делит на ранги и сословия, а знает лишь сокрушенных и смиренных, алчущих и жаждущих правды, нуждающихся и озлобленных, всех вкупе помощи божьей требующих.

Входя туда обозленным, труженик выходит освеженным умом и сердцем. Хотите сделать из народа зверей — не напоминайте ему про божью правду; хотите видеть работника-человека — не разлучайте его с великою школой Христовой.

Обвинение вменяет в вину избалованным подсудимым их тоску по церкви. В надежде, что вы в этой тоске найдете основание к снисхождению, я перехожу к другому моменту дела.

Отгоняемые от церкви, они, преданные страсти, разбивают кабаки. И за кабак их влекут к еще строжайшему ответу.

Остановимся. Буйство было. Но относить это буйство к беспорядкам скопищем, направленным против порядка управления — несогласно с требованиями закона. Вам это доказывали, и я вычеркнул из моей памяти все, что хотел сказать по этому предмету.

Добавлю одно: закон ст. 269 Уложения — закон новый, но мотивы к нему выяснены весьма подробно. Закон этот целиком взят из нового Уложения.

Вам, вероятно, присланы, как высшему суду местности, для заключений работы комиссии по Уложению. Там, во 2-м томе, под ст. 82, 83 вы найдете исчерпывающую вопрос аргументацию за наказуемость скопищ особливими карами лишь в исключительных, статьей перечисленных, случаях; там приведено ценное мнение светила французской юриспруденции Неіі о границах общеподобаного и просто буйного массового беспорядка. Прочитайте эти страницы.

Вас поразит дерзость буйнов, вторгающихся в чужие помещения, и хозяйничанье их за чужим вином.

Да, перед чужой дверью чувство деликатности и врожденное признание святости чужого очага сдерживают всякого человека с непреступно направленной или неиспорченной совестью.

Но в том-то и беда, что здесь для того чувства не было места.

Разбивались кабаки, уютящиеся около той же фабрики, где жили обвиняемые. А что такое кабак в жизни наших фабричных?

Это его клуб, его кабинет. Здесь он оставляет весь свой заработок, остающийся от необходимых домашних затрат. Кабацкая выручка — это склад, где сложены и трудовые деньги, и свободное время рабочего.

Кабак построен около фабрики, чтобы своим видом, запахом смущать и напоминать о себе рабочему. Кабаку нужны не трезвые и сдержанные: его друзья — буйные и безвольные гуляки. Для этих последних он не чужой дом, а самое настоящее пребывание, свой угол, свой правовой домицилий, где ищет рабочего, уклонившегося от работы, надзиратель, где сыщут его и власти, находящиеся нужным задержать его.

А если так, то не вмените в особый признак злостности буйство пьяного рабочего в кабаке, где все, от чайной чашки до последней капли одуряющего спирта, есть кристаллизация его беспросветного невежества и его непосильного труда.

Судя этих людей, вы должны, по требованию закона и справедливости, принять во внимание нравственные качества их, как ту силу, которая противостоит преступным соблазнам всякого рода.

Посмотрим же, какова эта сила и среди каких условий возникает и растет она.

Вечный визг махового колеса, адский шум машины и пыхтение паровика, передающего свою силу десятку тысяч станков, около которых уютятся как мало значащие винтики рабочие люди...

Титаническая сила — машина, блестит чистотой и изяществом своих частей, к ней прикованы забота и любовь домовладыки; и только они, легко заменимые в случае порчи, винтики, чужды любви и внимания.

Это ли условие подъема личности. Выйдем из фабрики... Кое-где виднеется церковь, одна-две школы, а ближе и дальше — десятки кабаков и притонов разгула.

Это ли здоровое условие нравственного роста.

Есть кое-где шкаф с книгами, а фабрика окружена десятками подвалов с хмельным, все заботы утоляющим вином.

Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабочего, надорванного всеми внутренностями от бесконечно однообразного служения машине. Пожалеем его. Не будем прилагать к нему не ради правды, а ради соображений неправового свойства мерку, удобную для наших сил.

Нас воспитывают с пеленок в понятии добра, нас блюдут свободные от повседневного труда зоркие очи родителей, к нам приставлены пестуны. Вся наша жизненная дорога, несмотря на запас сил и умение различать вещи, обставлена барьерами за счет нашего достатка, благодаря которым мы и сонные не свалимся в пучину и рассеянные идем автоматически по прямой и торной дороге.

А у них не то. Обессиленные тяжелым физическим трудом, с обмершими от бездействия духовными силами, они, тем не менее, сами должны искать путь и находить признаки правого и неправого направления. Справедливо ли требовать от них той выдержки, какую мы носим в наших грудях.... Чудные часы предстоит пережить вам, господа судьи. Вы можете при свете милосердия и закона избавить от кар неповинного и ослабить узы несчастных, виноватых не столько злой волей, сколько нерадостными условиями своей жизни.

Будьте снисходительны! Правда, не велика разница для рабочего между неволей по закону и неволей нужды, приковывающей всю его жизнь, все его духовные силы к станку, бесстрастно трепещущему перед его глазами. Но все же эти люди, куда бы вы ни послали их, - к станку или в тюрьмы и ссылку, услышав в вашем разговоре голос, осторожный в признании вины и свободный в приложении милости, исполнятся чувства нравственного удовлетворения.

Они увидят, что великое благо страны — суд равный для всех — коснулось и их, пасынков природы; что и им, воздавая по заслугам, судейская совесть сотворила написанное народу милосердие, внушенное русскому правосудию с высоты первовластия.

И пусть из их груди, чуткой ко всякой правде, им дарованной, дорожающей всякою крупницей внимания со стороны вашей, вырвутся благодарные крики, обращенные к тому, чьим именем творится суд на Руси, клики, какие, правда, по иным побуждениям вырывались из груди гладиаторов Рима: «Виват, Цезарь, побежденные тебя приветствуют!»

Все подсудимые были осуждены в соответствии с обвинением, сформулированным в обвинительном заключении.

РЕЧЬ А.И. УРУСОВА ПО ДЕЛУ ВОЛОХОВОЙ (в извлечении)

Краткий комментарий к речи

В августе 1866 г. в погребе своего дома был найден убитым крестьянин Алексей Волохов. Труп Алексея Волохова, перерубленный надвое, с большим количеством ран на нем, нанесенных различными орудиями, лежал в углублении погреба, залитом водой и забросанном грудой камней.

Подозрение в убийстве сразу же пало на жену убитого — Мавру (Марфу) Волохову (Егорову).

Волоховы проживали в отдельном доме. Испытывали сильную нужду. Сам Алексей Волохов страдал запоем и почти никогда не являлся домой трезвым. Жена часто ругала Волохова за пристрастие к спиртным напиткам и иногда даже называла мошенником, жуликом и каторжником. По мнению свидетелей, она была злой и сердитой по натуре и ждала случая избавиться от мужа. Некоторые же из свидетелей указали и на то, что она была неверна мужу, неоднократно изменяла ему. Однако конкретных фактов, подтверждающих это, не было.

В связи с тем, что кроме трупа, в доме Волоховых были обнаружены пятна крови (правда, очень небольшие), а также под влиянием ряда других улик Мавра Волохова была привлечена к уголовной ответственности по обвинению в убийстве.

Волохова категорически отрицала свою виновность в убийстве. О ее невиновности также свидетельствовал ряд косвенных доказательств.

Анализ косвенных доказательств по этому делу имел чрезвычайно большое значение. С этой задачей превосходно справился защитник, сумевший даже те улики, которые обвинением вменялись в вину Волоховой, обратить против него же.

Дело слушалось в Московском окружном суде в 1867 году.

Господа судьи! Господа присяжные!

Вашего приговора ожидает подсудимая, обвиняемая в самом тяжком преступлении, которое только можно себе представить. Я в своем возражении пойду шаг за шагом вслед за товарищем прокурора. Мы, удостоверясь в существенном значении улик, взвесим их значение, как того требует интерес правды, и преимущественно остановимся не на предложении, а на доказательствах.

Господин прокурор в своей речи сгруппировал факты таким образом, что все это сомнения делаются как бы доказательствами. Он озарил таким кровавым отблеском все улики, что мне приходится сознаться, что вы, господа присяжные, должны были склониться несколько на его сторону. Вспомните, господа, что мы два дня находимся под довольно тяжелым впечатлением. Наслоение впечатлений, накопившихся в продолжение этих двух дней, не дает нам возможности сохранить ту долю самообладания, которая дала бы возможность строго взвесить все улики и скептически отнестись к тому, что не выдерживает

строного анализа. Господин прокурор опирается преимущественно на косвенные улики. Первой уликой он представляет народную молву. Он говорит, что народный глас редко ошибается; я думаю наоборот. Народный голос есть воплощенное подозрение, которое нередко вредит крестьянину. Почему в настоящем случае народный голос является против подсудимой? Труп найден в погребке дома Волохова. Волохов жил несогласно со своей женой, после этого следует немедленное заключение — она виновна. Почему? Больше некому. Вот такая народная логика.

Для того чтобы нагляднее понять, что такое народный глас настоящем случае, необходимо вспомнить существенные черты характера действующих лиц. Каков человек был Алексей Волохов? Он был пьяница, во хмелю буянил, бил стекла (по осмотру оказалось, что в его доме было разбито до 40 стекол); когда он возвращался пьяным домой, он шумел, но при этом, как показали все свидетели, он стоял крепко на ногах. Эта индивидуальная черта его имеет весьма важное значение. Замечательно, что никто из свидетелей не подтвердил главного обстоятельства, никто не сказал, вернулся ли Алексей Волохов 17 августа домой ночевать, тогда как в два или три часа его видели на улице пьяным. Мы знаем, что он был в этот день несколько раз в трактире. Никита Волохов видел, как он шел по улице с каким-то мужиком пьяным, но он не сказал, что видел его, как он вошел в дом. Если бы было доказано, что он ночевал в этот день дома, то это было бы довольно сильной уликой против подсудимой, между тем положительно можно утверждать, что он не ночевал дома, так как его ближайшие соседи, Никита и Семен Волоховы, непременно должны были слышать его возвращение. Член суда, производивший осмотр, удостоверяет, что из половины Семена слышен был даже обыкновенный разговор в половине Алексея, а тем более должны были быть слышны шум и крики, без которых невозможно было совершить убийство. Господин прокурор делает предположение, что Волохов был убит сонным, но я полагаю, что делать предположения в таких важных делах мы не имеем никакого права. По мнению эксперта Доброва, подтеки на руках убитого могли произойти от сильного захвата рукой; если допускать предположение, то в этом случае возникает сильное сомнение о самом обстоятельстве дела. Относительно показания мальчика Григория я должен заметить, что оно носит на себе явный след искусственности. Вы слышали, господа присяжные, что мальчик признавался, что он действовал по научению дяди; если предположить, что мальчик действовал сознательно, то чем объяснить то обстоятельство, что он от 17 до 2 августа никому ничего не говорил, он бегает свободно по улицам, играет с мальчиками и мать его свободно отпускает.

Остановимся на минуту на предположении, что убийство совершено ею и мальчик видел это, то неужели бы она отпустила его на улицу, где каждый мог бы его спросить об отце? Впрочем, остановимся на его показании: он говорил, что видел, как мать его ручкой топора без железа била его отца; потом он говорит, что видел отца в погребке, как отец его пьяный спал, и у него из носу текла кровь, после же он слышал, что отец его найден в погребке. Мальчик явно перемешал события; выдумкой в его рассказе является только показание его о топо-

ре. Я не могу допустить мысли, чтобы мальчик до такой степени отдавал себе отчет о своих впечатлениях, чтобы так долго помнить о таком событии. Далее, в числе улик товарищ прокурора приводит то обстоятельство, что подсудимая 17 августа ходила ночевать к Прохоровым; он объясняет это ее боязнью оставаться ночевать в том доме, в котором она только что совершила убийство; но эта улика достаточно опровергнута следствием, так как свидетели показали, что она и прежде ночевала у соседей, когда муж ее возвращался домой пьяный. 17 августа, видя, что муж долго не возвращался, и думая, что он возвратится пьяный, она уходит ночевать к соседям. Господин прокурор не допускает того, чтобы она, уйдя из дома, не заперла ворот, но я должен заметить: во-первых, что ей незачем и нечего было запирасть, так как у нее в доме ничего не было; во-вторых, раз вышедши из ворот, запереть их изнутри невозможно. Вы слышали, что Мавра Егорова ушла ночевать к Прохоровым, дом оставался пустой. Никита, бывший в то время ночным сторожем и живший рядом, не мог не знать этого. Никита говорит, что он не помнит, караулил ли он 17 августа. Он отрицает драку свою в тот день с Алексеем Волоховым, отрицает даже, что был в тот день в трактире, но мы должны в этом случае более доверять показанию трактирщика. Я считал излишним загромождать судебное следствие вызовом трактирщика и других, видевших Никиту в трактире. Я не имею права составлять новый обвинительный акт, но странным является отрицание Никиты о бытности его в трактире с Алексеем Волоховым.

Затем я должен остановиться на осмотре следов крови, найденных в верхней части дома. Пол в комнате был найден замытым на три квадратные аршина, в пазах пола были найдены небольшие сгустки крови. Я говорю «небольшие» на том основании, что если бы куски были большие, то они были бы перед вами в числе вещественных доказательств, вместо этих забрызганных кровью щепок, которые лежат перед вами. Из медицинского осмотра мы видим, что у Алексея Волохова вскрыта была полая вена, из которой должно было быть обильное кровотечение; кроме того, Алексей Волохов был человек с сырой, разжиженной кровью, следовательно, кровь должна была вытечь из его тела в огромном количестве; должны были быть крупные фунтовые сгустки крови, и тогда незачем было бы соскабливать маленькие кровяные пятнышки, чтобы представить их к судебному следствию; тогда нужно было бы представить эти большие сгустки. Между тем мы их не видим. Так как наука не в состоянии доказать, какая кровь найдена была в верхней комнате, то не было бы причины подозревать непременно, что это кровь человеческая, но, заметьте, что подсудимая сама не отрицает того, что это была кровь Алексея Волохова, и объясняет это кровотечением из носу. Мы не имеем причины не доверять ей в этом случае, тем более, что фельдшер подтвердил, что он ставил банки Алексею Волохову, который жаловался на приливы крови в голове.

Правда, общественное мнение склоняется не в пользу подсудимой. Оно говорит, что подсудимая была злого и сердитого характера, но не надо забывать того, что это мнение было высказано тогда, когда в народе уже сложилось убеждение в виновности подсудимой, и потому доверять ему вполне нельзя.

Далее. И товарищ прокурора в числе улик выставляет качества подсудимой. Признаюсь, я не ожидал чтобы нравственные качества человека можно было поставить ему в вину. Я должен прибавить, что эта женщина десять лет была замужем. Имея пьяного мужа, который пьяный буянил, она часто уходила ночевать к соседям. Мудрено ли было в этом случае молодой женщине увлечься, а между тем из показаний свидетелей и из повального обыска мы видим, что она никогда не нарушала долга жены. В доказательство ее нравственных качеств я должен прибавить, что она на повальном обыске никого не отвела от свидетельства об ее поведении. Здесь, на судебном следствии, она требовала, чтобы все свидетели были спрошены под присягой, хотя я накануне заседания объяснял ей, что свидетелям, спрошенным без присяги, дается менее вероятия, но она отвечала мне: «Авось они оглянутся и покажут правду», так твердо она была уверена в своей невинности. Товарищ прокурора находит, что у Алексея Волохова не было врагов, не было причины враждовать против него, но судебное следствие показывает нам, что могли быть причины вражды: он нанимался не раз в рекруты и не исполнял обещания. Кроме того, я должен сказать, что жена Никиты судилась как-то с одним мужиком по вопросу об изнасиловании, что могло подать повод к насмешкам со стороны подсудимой и тем возбудить против нее вражду. Кроме того, для братьев покойного Алексея мог служить предметом зависти дом его. Я не хочу сказать, чтобы для братьев его мог быть интерес убить Алексея, этот интерес мог и не существовать, но зато мог быть интерес скрыть преступника. В числе других улик, выставленных господином прокурором, он указывал на то, что Мавра Егоровна часто ругала своего мужа, называла его жуликом, мошенником и каторжником. Но кому неизвестно, что в народе употребляются более резкие ругательства, и они не могут давать повода к подозрению совершения преступления. Да и могла ли Мавра Егорова равнодушно смотреть на развратный вид пьяного мужа, который действительно выглядел арестантом. Далее, прокурор говорит, что убийца всегда старается бежать от трупа. Совершенно соглашаясь в этом с прокурором, я должен заметить, что Мавра Егорова не страшилась быть на погребке, она солила там огурцы и лазила даже в погреб. Если допустить, что Мавра Егорова совершила преступление, то ее нужно признать за какое-то исключение из всех людей. Между тем, если допустить, что убийство совершено было посторонним лицом, то проще допустить, что убийца бросил труп в погреб Волохова. Дом был совершенно пустой, погреб от улицы был в семи шагах — все это очень хорошо мог знать ночной сторож.

Прокурор замечает, что трудно предположить, чтобы посторонний убийца сходил за мешком, в который положил Волохова. Я согласен, что это трудно, но еще труднее предположить, чтобы был отыскан мешок там, где его не было, а мы знаем, что Мавра Егорова не имела мешка, она даже брала мешок у соседей, когда ей нужно было солить огурцы. Если допустить, что подсудимая, совершив убийство, уничтожила все следы преступления, замыла кровь на полу в верхней комнате, то почему же она не замыла пятен крови, оказавшихся на окнах и стенах.

Кроме того, и из медицинского осмотра видно, что раны были нанесены тремя родами орудий. Не говоря уже о том, что одному человеку нужно было употреблять три различных орудия для того, чтобы совершить убийство, я замечу, что в доме Волоховых ни ножа, ни шила не было найдено. Что подозрения на подсудимую могли быть, об этом не может быть и спора, но закон говорит, что для того чтобы преступление было наказано, оно должно быть несомненно, а всякое сомнение должно толковаться в пользу подсудимой и никак не во вред ей. В настоящем же случае я полагаю, что убеждение в виновности подсудимой ни в каком случае не могло у вас сложиться. Тому показанию свидетелей, что Мавра Егорова не ночевала у соседей, я ни в каком случае не могу доверять. Они показывают так потому, что бояться, чтобы не навлечь почему-либо в этом случае на себя подозрения, и показывают так для того, чтобы окончательно отстранить себя от всяких подозрений. Далее прокурор говорит, что подсудимая постоянно клеветает на свидетелей; клеветает ли она, я предоставляю судить об этом вам, господа присяжные; я со своей стороны думаю, я со своей стороны думаю, что большей искренности со стороны подсудимой и желать нельзя. Если вы недостаточно убедились моими доводами, то я должен заявить вам, что случаи судебных ошибок нередки в уголовной практике. Нужно надеяться, что эти ошибки будут реже и реже. Тем не менее, я могу допустить, чтобы суд присяжных мог допускать такие ошибки. Вы, господа присяжные, должны постановить свой приговор, основывая его на убеждениях логических, а не формальных.

Господа присяжные, настоящее преступление совершено было среди белого дня, между тем Семен Волохов говорит, что он, вернувшись вечером домой, никакого шума в квартире Алексея не слышал.

Показание Прохорова об ужасе подсудимой, когда она пришла к нему ночевать, ничем не подтвердилось. Я с изумлением отмечаю, что товарищ прокурора в числе улик признает слова ее, сказанные Никите, что если ее притянут к суду, то он будет стоять с ней на одной доске. Если придавать этим словам значение, то странно, почему же Никита не был привлечен к суду. Я объясняю слова ее так: она хотела этим выразить, что если ее, против которой нет никаких улик, привлекут к суду, то тем более должны привлечь к суду Никиту, который был сторожем в деревне и должен знать, кто совершил убийство. В заключение, я должен упомянуть о краже 150 рублей. Мавру Егорову постоянно попрекает сноха тем, что она нищая, что муж ее все у нее пропил. Она из досады похищает у снохи деньги, но совет ее мучит и она открывается в этом священнику. Она никогда не обвиняла мужа, она прямо говорит перед священником, что она, а не муж ее, украла деньги. Тот берет клятву с Семена и его жены в том, что те никому не расскажут о происшедшем. Что же происходит? Вот, господа присяжные, насколько нравственными личностями являются Семен Волохов и его жена. Только что, поклявшись перед образом, они через полчаса нарушают эту клятву. Представляю вам судить, насколько можно доверять этим личностям в их показаниях.

Господа присяжные, я ожидаю от вас строгой правды, строгого анализа. Перед вами женщина, шесть месяцев томившаяся под тяжелым обвинением. Девять лет в горе прожила она с мужем, еще худший конец ожидает эту нравственную личность. Невольно преклоняешься перед таким горем.

Подсудимая была оправдана.

П.С. ПОРОХОВЩИКОВ (П.СЕРГЕИЧ).
ИСКУССТВО РЕЧИ НА СУДЕ
(в извлечении)

ГЛАВА I. О СЛОГЕ

В чем заключается ближайшая, непосредственная цель всякой судебной речи? — В том, чтобы ее поняли те, к кому она обращена. Ясность есть первое необходимое условие хорошего слога. Эпикур учил: не ищите ничего, кроме ясности. Аристотель говорит: ясность — главное достоинство речи, ибо очевидно, что неясные слова не делают своего дела.

Каждое слово оратора должно быть понимаемо слушателями совершенно так, как понимает он.

Но мало сказать: нужна ясная речь; на суде нужна необыкновенная, исключительная ясность. Слушатели должны понимать без усилий. Оратор может рассчитывать на их воображение, но не на их ум и проницательность. Поняв его, они пойдут дальше; но поняв не вполне, попадут в тупик или забредут в сторону. «Нельзя рассчитывать на непрерывное чуткое внимание судьи, — говорит Квинтилиан, — нельзя надеяться, что он собственными силами рассеет туман речи, внесет свет своего разума в ее темноту; напротив того, оратору часто приходится отвлекать его от множества посторонних мыслей; для этого речь должна быть такой ясной, чтобы проникать ему в душу помимо его воли, как солнце в глаза...». Не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья.

На пути к такому совершенству стоят два внешних условия: чистота и точность слога и два внутренних: знание предмета и знание языка. Точность, опрятность, говорил Пушкин, первые достоинства прозы; она требует мыслей и мыслей. Изящество, красота слога есть роскошь, дозволительная для тех, у кого она является сама собою; но в отношении чистоты своей речи оратор должен быть неумолим. К сожалению, надо сказать, что в речах большинства наших обвинителей и защитников больше сору, чем мыслей; о точности выражений они совсем не заботятся, скорее щеголяют их неряшливостью.

Первый недостаток их — это постоянное злоупотребление иностранными словами. Изредка раздаются жалобы и увещания бороться с этим, но их никто не слушает. Огромное большинство этих незваных гостей совсем не нужны нам, потому что есть русские слова того же значения, простые и точные: фиктивный — вымышленный, мнимый, инициатор — зачинщик, инспирировать — внушать, доминирующий — преобладающий, господствующий, симуляция — притворство и т.д. Мы слышим: травма, базировать, варьировать, интеллигенция, интеллигентность, интеллигент. Одно или два из этих четырех последних слов вошли в общее употребление с определенным смыслом, и нам, к сожалению, уже не отделаться от них: но зачем поощрять вторжение других? В течение немногих последних месяцев в петербургском суде вошло в обычай вместо: преступление наказуется, карается, говорить: преступление таксировается. Не знаю, почему. Мы не торгуем правосудием.

Во многих случаях для известного понятия у нас вместо одного иностранного есть несколько русских слов, и тем не менее все они вытесняются из употребления неуклюжими галлицизмами. Мы встречаем людей, которые по непонятной причине избегают говорить и писать слова: недостаток, пробел, упущение, исправление, поправка, дополнение; они говорят: надо внести корректив в этот дефект; вместо слов: расследование, опрос, дознание им почему-то кажется лучше сказать: анкета, вместо наука — дисциплина, вместо: связь, измена, прелюбодеяние — адюльтер. Хуже всего то, что эти безобразные иностранные слова приобретают понемногу в нашем представлении какое-то преимущество перед чистыми русскими словами: детальный анализ и систематическая группировка материала кажутся более ценной работой, чем подробный разбор и научное изложение предмета.

Можно ли говорить, что «прежняя судимость есть характеристика, так сказать, досье подсудимого»? Можно ли говорить: «абзац речи», «письменное заявление адекватно явке», «приговор аннулирован» и т.п.? Существуют два глагола, которые ежедневно повторяются в судебных залах: это мотивировать и фигурировать. Нам заявляют с трибуны, что в письмах фигурировал яд, или что мешанка Авдотья Далашкина мотивировала ревностью пощечину, данную ею Дарье Захрапкиной. Я слышал, как блестящий обвинитель, говоря о нравственных последствиях растления девушки, сказал: «в ее жизни встал известный ингредиент».

В современном языке, преимущественно газетном, встречаются ходячие иностранные слова, которые действительно трудно заменить русскими, например: абсентеизм, лояльность, скомпрометировать. Но, конечно, в тысячу раз лучше передать мысль в описательных выражениях, чем мириться с этими нетерпимыми для русского уха созвучиями. Зачем говорить: инсинуация, когда можно сказать: недостойный, оскорбительный или трусливый намек?

Не только в уездах, но и среди наших городских присяжных большинство незнакомо с иностранными языками. Я хотел бы знать, что отражается у них в мозгу, когда прокурор объясняет им, что подробности события инсценированы подсудимым, а защитник, чтобы не остаться в долгу, возражает, что преступление инсценировал прокурор. Кто поверит, что на уездных сессиях, перед мужиками и лавочниками, раздается слово алиби?

Иностранные фразы в судебной речи — такой же сор, как иностранные слова. *Aquae et ignis interdicto* (лат — изгнание из отечества); *amicus Plato, sed medius amica veritas* (лат — Платон мне друг, но истина еще больший друг) — и неизбежное: *cherche la femme* (фр. — ищите женщину), — к чему все это? Вы говорите перед русским судом, а не перед римлянами или западными европейцами. Щеголяйте французскими поговорками и латинскими цитатами в ваших книгах, в ученых собраниях, перед светскими женщинами, но в суде — ни единого слова на чужом языке.

Другой обычный недостаток наших судебных речей составляют ненужные вставные слова. Один из наших обвинителей имеет привычку к паузам; в этом еще нет недостатка; но в каждую остановку он вставляет слово: «хорошо». Это очень плохо. Молодой шорник обвинялся по 1 ч. 1455 ст. уложения; в ко-

роткой и деловитой речи товарищ прокурора отказался от обвинения в умышленном убийстве и поддерживал обвинение по 2 ч. 1455 ст., указав присяжным на возможность признать убийство в драке. Но в речи были три паузы — и присяжные три раза слышали: «хорошо»! Невольно думалось: человека убили, что тут хорошего? Другой обвинитель ежеминутно повторяет: «так сказать». Отличительная черта этого оратора — ясность мышления и смелая точность, иной раз грубость языка; а он кается в неумении определенно выражаться.

Если оратор знает, что выражаемая им мысль должна показаться справедливой, он может с некоторым лицемерием начать словами: я не уверен, не кажется ли вам и т.п. Это хороший риторический прием. Нельзя возражать и против таких оборотов, как: нет сомнения, нам всем ясно, и проч., если только не злоупотреблять ими; в них есть доля невинного внушения. Но если говорящий сам считает свой вывод не совсем твердым, вступительные слова вроде: мне кажется, мне думается, — могут только повредить ему. Когда обвинитель или защитник заявляет присяжным: «Я не знаю, какое впечатление произвело на вас заключение эксперта, но вы, вероятно, признает и т.д.», хочется сказать: не знаешь, так не говори.

Многие наши ораторы, закончив определенный период, не могут перейти к следующему иначе, как томительными, невыносимыми словами: и вот. Прислушайтесь к созвучию гласных в этом выражении, читатель. И это глупое выражение повторяется почти в каждом процессе с обеих сторон. «И вот поддельный документ пускается в обращение...» «И вот у следственной власти возникает подозрение...» и т.д.

Неправильное ударение так же оскорбительно для слуха, как неупотребительное или искаженное слово. У нас говорят: возбудил, переведен, алкоголь, астроном, злоба, деньгами, уменьшить, ходатайствовать, приговор вместо приговор. Произнесение этого последнего слова подчиняется какому-то непонятному закону: образованные люди в обществе, воспитанницы женских учебных заведений и члены сидячей магистратуры произносят: приговор; так же говорят подсудимые, то есть необразованные люди, знающие звуковые законы языка по чутью; чины прокураторы, присяжные поверенные и их помощники, секретари судебных мест и кандидаты на судебные должности произносят: приговор, я спросил у трех воспитанников из старших классов реального училища, и каждый порознь сказал: приговор. Различие это тем менее понятно, что никаких сомнений о правильном произношении этого слова нет...

Богатство слов

Чтобы хорошо говорить, надо хорошо знать свой язык; богатство слов есть необходимое условие хорошего слога. Строго говоря, образованный человек должен свободно пользоваться всеми современными словами своего языка, за исключением специальных научных или технических терминов. Можно быть образованным человеком, не зная кристаллографии или высшей математики; нельзя, — не зная психологии, истории, анатомии и родной литературы.

Проверьте себя — отделите известные вам слова от привычных, то есть, таких, которые вы не только знаете, но и употребляете в письмах или в разговоре; вы поразитесь своей бедностью. Мы большей частью слишком небрежны к словам в разговоре и слишком заботимся о них на кафедре. Это коренная ошибка. Старательный подбор слов на трибуне выдает искусственность речи, когда нужна ее непосредственность. Напротив, в обыкновенном разговоре изысканный слог выражает уважение к самому себе и внимание к собеседнику.

Одним из признаков хорошего слога бывает правильное употребление синонимов. Не все равно сказать: жалость, сострадание или милосердие, — обмануть, обольстить или провести, — удивиться, изумиться или поразиться. Кто владеет своим языком, тот бессознательно выбирает в каждом случае наиболее подходящее из слов однородного значения. ...Однако в устах неразвитого или небрежного человека синонимы, напротив того, служат к затемнению его мыслей. Этот недостаток часто встречается у нас наряду с пристрастием к галлицизмам; русское слово употребляется рядом с иностранным синонимом, причем чужестранец получает первое место.

Каждого из нас в школе предостерегали от тавтологии и плеоназмов. Однако судебный оратор говорит: «Бухаленкова по своей натуре несомненно природа честная»; я недавно выслушал соображение: «Подсудимый субъективно думал, что совершает не грабеж, а тайную кражу».

В одной не слишком длинной обвинительной речи о крайне сомнительном истязании приемыша-девочки женщиной, взявшей ее на воспитание, судьи и присяжные слышали такие отрывки: «Показания свидетелей в главном, в существенном, в основном совпадают; развернутая перед вами картина во всей своей силе, во всем объеме, во всей полноте изображают такое обращение с ребенком, которое нельзя не признать издевательством во всех формах, во всех смыслах, во всех отношениях; — то, что вы слышали, это ужасно, это трагично, это превосходит всякие пределы, это содрагает все нервы, это поднимает волосы дыбом».

Знание предмета

Человеческая речь была бы совершенной, если бы могла передавать мысль с такой же точностью, как зеркало отражает световые лучи. Но это идеальное совершенство, недостижимое и ненужное. Предмет, слабо освещенный, представляется на зеркальной поверхности в таком же неясном виде; вещь, освещенная ярко, и в зеркале отразится в четких очертаниях. То же можно сказать о человеческом языке: мысль, вполне сложившаяся в мозгу, легко находит себе точное выражение в словах; неопределенность выражений обыкновенно бывает признаком неясного мышления.

Мне попался где-то один из афоризмов Гладстона: старайтесь вполне переварить предмет и освоиться с ним; это подскажет вам нужные выражения во время произнесения речи...

Только точное знание дает точность выражения. Послушайте, как говорит крестьянин о сельских работах, рыбак о море, ваятель о мраморе; пусть будут

это невежды во всякой другой области, но о своей работе каждый будет говорить определенно и понятно. Наши ораторы постоянно смешивают страховую премию со страховым вознаграждением, кровотечение с кровоизлиянием, и не всегда различают зачинщика от подстрекателя или крайнюю необходимость от необходимой обороны. При такой путанице в их словах может ли быть ясно в голове присяжных? ...

Сорные мысли

Сорные мысли несравненно хуже сорных слов. Расплывчатые выражения, вставные предложения, ненужные синонимы, составляют большой недостаток, но с этим легче примириться, чем с нагромождением ненужных мыслей, с рассуждениями о пустяках или о вещах, для каждого понятных. Подсудимых обвиняется по ст. 9 и 2 ч. 1455 ст. уложения о наказаниях и признает себя виноватым именно в покушении на убийство в состоянии раздражения. Оратор спрашивает: что такое убийство, что такое покушение на убийство, и объясняет это самым подробным образом, перечисляя признаки соответствующих статей закона. Он говорит безупречно, но разве это не пустословие? Ведь при самом блестящем таланте он не в состоянии сказать присяжным ничего нового... Так называемое *remplissage*, то есть заполнение пустых мест ненужными словами, составляет извинительный и иногда неизбежный недостаток в стихотворении; но оно недопустимо в деловой судебной речи. Можно возразить, что слишком сжатое изложение затруднительно для непривычных ситуаций, и мысли, лишние сами по себе, бывают полезные для того, чтобы отвлечь их внимание. Но это неверное соображение: во-первых, сознание, что оратор способен говорить ненужные вещи, уменьшает внимание слушателей, и, во-вторых, отвлечь внимание присяжных следует давать не бесцельными рассуждениями, а повторением существенных докладов в новых риторических оборотах.

Речь должна быть коротка и содержательна.

Простота и сила

Высшее изящество слога заключается в простоте, говорит архиепископ Уэтли, но совершенство простоты дается нелегко. О вещах обыкновенных, мы, естественно, говорим обыкновенными словами; но под художественной простоте слога следует разуметь умение говорить легко и просто о вещах возвышенных и сложных...

Послушаем, как говорят у нас. Талантливый обвинитель негодует против распушенности нравов, когда «кулаку предоставлена свобода разбития физиономий»; его товарищ хочет сказать: покойная пила — и говорит: «Она проводила время за тем ужасным напитком, который составляет бич человечества». Защитник хочет объяснить, что подсудимый не успел вывезти тележку со двора, а потому нельзя судить о том, хотел ли он украсть ее или имел другие намерения; казалось бы, так и надо сказать; но он говорит: «тележка, не вывезенная еще со двора, находилась в такой стадии, что мы не можем составить определенного суждения о характере умысла подсудимого».

Надо говорить просто. Можно сказать: Каин с обдуманым заранее намерением лишил жизни своего родного брата Авеля; так пишется в наших обвинительных актах; или, Каин обагрил руки неповинною кровью своего брата Авеля; так говорят у нас многие на трибуне, или: Каин убил Авеля; это лучше всего; но так у нас на суде почти не говорят. Слушая наших ораторов, можно подумать, что они сознательно изошряются говорить не просто и кратко, а длинно и непонятно. Простое сильное слово «убил» смущает их. «Он убил из мести», говорит оратор, и тут же, точно встревоженный ясностью выраженной им мысли, спешит прибавить: «Он присвоил себе функции себе функции (это было сказано, читатель!), которых не имел». И это не случайность. На следующий день новый оратор с той же кафедры говорил то же самое «Сказано: не убий! Сказано: нельзя такими словами произвольными действиями нарушать порядок организованного общества».

Слово — великая сила, но надо заметить, что это союзник, всегда готовый стать предателем. Недавно в заседании Государственной думы представитель одной политической партии торжественно заявил: «Фракция нашего союза будет настойчиво ждать снятия исключительных положений. Не многого дождется страна от такой настойчивости».

Но как научиться этой изящной простоте? Я заметил у некоторых отдельных судебных ораторов очень выгодный прием: они вставляют отдельные отрывки из будущей речи в свои случайные разговоры. Это дает тройной результат:

- а) логическую проверку мыслей оратора,
- в) приспособление их к нравственному сознанию обывателя, следовательно, и присяжных и
- с) естественную передачу их тоном и словами без труда и незаметно для себя достигаем того, что так трудно для многих на суде, то есть говорим искренне и просто.

Высказав несколько раз одну и ту же мысль перед собеседником, оратор привыкает к ясному ее выражению простыми словами и усваивает подходящий естественный тон. Нетрудно убедиться, что этот прием полезен не только для слога, но и для содержания будущей речи: оратор может обогатиться замечаниями своего собеседника.

На трибуне нельзя думать о словах; они должны сами являться в нужном порядке. И в этом случае *le mieux est l'ennemi du bien* (фр.— лучшее — враг хорошего). Если сорвалось неудачное выражение, то при спокойном изложении следует прервать себя и просто указать на ошибку: нет, это не то, что я хотел сказать, — это слово неверно передает мою мысль, и т.п. Оратор ничего не теряет от случайной обмолвки; напротив, остановка задержит внимание слушателей. Но при быстрой речи, в патетических местах останавливаться и поправляться нельзя. Слушатели должны видеть, что оратор увлечен вихрем своих мыслей и не может следить за отдельными выражениями...

Квинтилиан говорил: «Всякая мысль сама дает те слова, в которых она лучше всего выражается; эти слова имеют свою естественную красоту; а мы ищем их, будто они скрываются от нас, убегают, мы все не верим, что они уже

перед нами, ищем их направо и налево, а найдя, извращаем их смысл. Красноречие требует большей смелости; сильная речь не нуждается в белилах и румянах. Слишком старательные поиски слов часто портят всю речь.

Лучшие слова — это те, которые являются сами собою; они кажутся подсказанными самой правдой; слова, выдающие старание оратора, представляются неестественными, искусственно подобранными; они не нравятся слушателям и внушают им недоверие: сорная трава, заглушающая хорошие семена».

«В своем пристрастии к словам мы всячески обходим то, что можно сказать прямо; повторяем то, что достаточно высказать один раз, то, что ясно выражается одним словом, загромождаем множеством, и часто предпочитаем неопределенные намеки открытой речи... Короче сказать, чем труднее слушателям понимать нас, тем более мы восхищаемся своим умом»...

О благозвучии

...Остерегайтесь говорить ручейком: вода струится, журчит, лепечет и скользит по мозгам слушателей, не оставляя в них следа. Чтобы избежать утомительного разнообразия, надо составить речь в таком порядке, чтобы каждый переход от одного раздела к другому требовал перемены интонации. В своей превосходной книге «Hints on Advocacy» английский адвокат Р. Гаррис называет модуляцию голоса *the most beautiful all the graces of eloquence* — самой прекрасной из всех прелестей красноречия. Это музыка речи, говорит он; о ней мало заботятся в суде, да и где бы то ни было, кроме сцены; но это неоценимое преимущество для оратора, и его следовало бы развивать в себе с величайшим прилежанием.

Неверно взятый тон может погубить целую речь или испортить ее отдельные части.

Обвинитель напомнил присяжным последние слова раненого юноши: «Что я ему сделал? За что он меня убил?» Он сказал это скороговоркой. — Надо было сказать так, чтобы присяжные слышали умирающего.

По замечанию Гарриса, лучшая обстановка для упражнения голоса — пустая комната. Это, действительно, приучает к громкой и уверенной речи. Со своей стороны, я напомню то, о чем уже говорил: повторяйте заранее обдуман-ные отрывки речи в случайных разговорах; это будет наводить вас на верную интонацию голоса. А затем — учитесь читать вслух. А.Я. Пассовер говорил мне, что Евгений Онегин делается откровением, когда его читает С.А. Андреевский. Подумайте, что это значит, и попытайтесь прочесть несколько строф так, чтобы хоть кому-нибудь они показались откровением.

Истинно художественная речь состоит в совершенной гармонии душевного состояния оратора с внешним выражением этого состояния; в уме и в сердце говорящего есть известные мысли, известные чувства; если они передаются точно и притом не только в словах, но и во всей внешности говорящего, его голосе и движениях, он говорит как оратор...

ГЛАВА II. ЦВЕТЫ КРАСНОРЕЧИЯ

Красноречие есть прикладное искусство; оно преследует практические цели; поэтому украшение речи только для украшения не соответствует ее назначению. Если оставить в стороне нравственные требования, можно было бы сказать, что самая плохая речь лучше самой превосходной, коль скоро вторая не достигла цели, а первая имела успех. С другой стороны, всеми признается, что главное украшение речи заключается в мыслях. Но это — игра слов; мысли составляют содержание, а не украшение речи; нельзя смешивать жилые помещения здания с лепным орнаментом на его фасаде или фресками на внутренних стенках. Таким образом, мы подходим к основному вопросу: какое значение могут иметь цветы красноречия на суде, или, лучше сказать, указываем основное положение: риторические украшения, как и прочие элементы судебной речи, имеют право на существование только как средства успеха, а не как источник эстетического наслаждения. Цветы красноречия — это курсив в печати, красные чернила в рукописи...

Пусть блещет речь мужественной, суровой красотой, а не женской изнеженностью; пусть красит ее горячая кровь и талант оратора.

Опытные и умелые люди любят наставлять младших, напоминая, что надо говорить как можно проще; я думаю, что это совсем не верно. Простота есть лучшее украшение слога, а не речи. Мало говорить просто, ибо недостаточно, чтобы слушатели понимали речь оратора; надо, чтобы она подчинила их себе. На пути к этой конечной цели лежат три задачи: пленить, доказать, убедить. Всему этому служат цветы красноречия.

Что такое наши присяжные

В большинстве своем это малообразованные, а в уездах часто совсем невежественные люди; среди них могут быть очень умные и очень ограниченные. Оратору всегда желательно быть понятным всеми; для этого он должен обладать умением приспособить свою речь к уровню средних, а может быть и ниже чем средних людей. Я не ошибусь, если скажу, что и большинство так называемых образованных людей нашего общества не слишком привыкли усваивать общие мысли без помощи примеров или сравнений.

Возьмем пример. Шопенгауэр определяет эстетическое наслаждение как состояние чистого созерцания и безвольного познания вне течения времени и иных индивидуальных отношений. Эти слова имеют определенный смысл, но мы представляем его себе крайне смутно. За отвлеченной формулой следует пояснение: «Тогда уже все равно, из-за тюремной решетки или из окон дворца смотреть на заходящее солнце; после этих слов мысль становится понятной».

Образы

Речь, составленная из одних рассуждений, не может удержаться в голове людей непривычных; она исчезает из памяти присяжных, как только они прошли в совещательную комнату. Если в ней были эффектные картины, этого

случиться не может. С другой стороны, только краски и образы могут создать живую речь, то есть такую, которая могла бы произвести впечатление на слушателей. Привожу несколько указаний из «Диалогов» Фенелона. Он говорит: следует не только описывать факты, но изображать их подробности так живо и образно, чтобы слушателям казалось, что они почти видят их, простой рассказ не может ни привлечь внимание слушателей, ни растрогать их; и потому поэзия, то есть живое изображение действительности, есть душа красноречия. Нужны образы, нужны картины.

Скажите присяжным: честь женщины должна быть охраняема законом независимой от ее общественного положения. Будут ли вас слушать профессора или ремесленники — все равно; эти слова не произведут на них никакого впечатления: одни совсем не поймут, другие пропустят их мимо ушей. Скажите, как сказал опытный обвинитель: во всякой среде, в деревне и в городе, под шелком и бархатом или под дерюгой честь женщины должна быть неприкосновенна, — и присяжные не только поймут, но и почувствуют и запомнят вашу мысль. Речь, украшенная образами, несравненно выразительнее простой.

Метафоры и сравнения

Известно, что все мы по привычке говорим метафорами, не замечая этого. Они так понятны для окружающих и так оживляют разговор, что мы всегда охотно слышим их в чужих речах. Аристотель говорит: в прозе хороши только самые точные или самые простые слова или метафоры. Не следует скупиться на метафоры. Я готов сказать, чем больше их, тем лучше; но надо употреблять или настолько привычные для всех, что они уже стали незаметными, как например: рассудок говорит, закон требует, давление нужды, строгость наказания, и т.п. — или новые, своеобразные, неожиданные. Не говорите: преступление совершено под покровом ночи; цепь улик сковала подсудимого; он должен преклониться перед мечом правосудия. Уши вянут от таких речей. А удачная метафора вызывает восторг у слушателей.

Чтобы не остаться незамеченным, чтобы быть интересным, сравнение, как метафора, должно быть неожиданным, новым; Спасович говорит про Емельянова, обвиняемого в убийстве жены, про живого человека, что он — как дерево, как лед. Но, конечно, при известном различии сравниваемого черты, в которых проявляется сходство, должны существовать на самом деле и быть характерными для обоих предметов.

Нельзя сказать, чтобы наши молодые ораторы соблюдали эти элементарные правила; иногда кажется, что вся фантазия их заключена между первой и последней страницами уложения о наказаниях; их излюбленное сравнение; убить значит похитить высшее благо, данное человеку; подлог векселя есть как бы отравка его или коварный поджог против всех будущих его держателей... Это все равно, что сравнить птицу с птицей или дерево с деревом; разве когда-нибудь говорится: этот вяз, как старый дуб... Эта щука, как акула? Я недавно слышал такие слова одного частного обвинителя: «Обольщение девушки близко подходит к краже: сорвать цветок и уйти». Уподобление женской невинности

цветку не слишком ново; предметы сравнения и здесь суть виды одного общего понятия — преступления; их родовые признаки неизбежно совпадают, а видовые — разнствуют, в чем заключается сходство последних, остается тайной оратора, и такой «цветок» красноречия, конечно, оставляет слушателей в полном недоумении...

Простые люди легко владеют образной речью... Встретив похороны, извозчик говорит: домой поехал; в деревне скажут: повезли под зеленое одеяло; признаваясь в нечестном поступке, крестьяне говорят: укусил грешка. Председатель спросил 18-летнего воришку, отчего он убежал из полицейского участка; подсудимый вытаращил глаза и громко отчеканил: «Каждый человек выбежит из такой клетки, если дверь откроют, даже птица вылетает из клетки, если откроют клетку». Я слышал, как вор-рецидивист назвал себя людским мусором.

Послушаем наших ораторов.

Мещанка Макарова судилась по 1477 ст. уложения о наказаниях; она облила жену любовника своей дочери серной кислотой. Товарищ прокурор начал свою речь так: «Реальные плоды тех отношений, которые существовали между Макаровой и Пруденской, осязательны и для нас очевидны: Пруденская лишилась глаза...» Защитник не уступил своему противнику в непринужденности; он заявил присяжным, что «все дело в сущности представляется каким-то водевилем или фарсом». Расскажите это здравомыслящему человеку, и, если поверит, он скажет: этим людям дали право свободно говорить перед судом, и они пользуются им, чтобы публично издеваться над изувеченной женщиной.

Верное сравнение подтверждает верную мысль; оно же изобличает ошибку.

Сравнение часто бывает превосходным доказательством. В речи по делу крестьян села Люторич Ф.Н. Плевако говорил по поводу взрыва накопивших страданий и озлобления со стороны нескольких десятков, мужиков: «Вы не допускаете такой необыкновенной солидарности, такого удивительного единодушия без предварительного сговора? Войдите в детскую, где нянька в обычное время забыла накормить детей; вы услышите одновременные крики и плач из нескольких люлек. Был ли здесь предварительный сговор? Войдите в зверинец за несколько минут до кормления зверей: вы увидите движение в каждой клетке, вы с разных концов услышите дикий рев. Кто вызвал это соглашение? Голод создал его, и голод вызвал и единовременное неповиновение полиции со стороны люторических крестьян...» Нужно ли прибавлять, что эти два сравнения сделали доказательства мысли защитника больше, чем могла бы сделать целая вереница неоспоримых логических рассуждений?

Всякая метафора есть, в сущности, совершенное сравнение; но в сравнении сходство бывает указано прямо, а в метафоре — подразумевается; поэтому последняя не так заметна для слушателей и меньше напоминает об искусственности; она вместе с тем и короче; следовательно, в виде общего правила метафора предпочтительнее сравнения....

ГЛАВА III. ИСКУССТВО СПОРА НА СУДЕ

Аристотель писал: на стороне правды всегда больше логических доказательств и нравственных доводов.

Правду нельзя изобличить в логической непоследовательности как намеренном обмане; на то она и правда. Тот, кто искренне стремится к ней, может быть смел в речах, у него не будет недостатка и в доводах. Аргументы создаются у нас сами собой во время предварительного размышления о речи.

О нравственной свободе оратора

Всякий искусственный прием включает в себе некоторую долю лжи: пользование дополнительными цветами в живописи, несоразмерность частей в архитектуре и скульптуре применительно к расположению здания или статуи, риторические фигуры в словесности, демонстрация на войне, жертва ферзем в шахматах — все это до некоторой степени обман. В красноречии, как во всяком практическом искусстве, технические приемы часто переходят в настоящую ложь, еще чаще в лесть или лицемерие. Здесь нелегко провести границу между безнравственным и дозволенным. Всякий оратор, заведомо преувеличивающий силу известного довода, поступает нечестно; это вне сомнения, столь же ясно, что тот, кто старается риторическими оборотами усилить убедительность приведенного им соображения, делает то, что должен делать. Здесь отличие указать нетрудно: первый лжет, второй говорит правду, но первый может быть и вполне добросовестным, а доводы его все-таки преувеличенными...

Из того, что речь должна быть написана в законченной форме, не следует, что она должна быть произнесена наизусть.

Мы не будем повторять старого спора: писать или не писать речи. Знайте, читатель, что, не исписав несколько сажен или аршин бумаги, вы не скажете сильной речи по сложному делу. Если только вы не гений, примите это за аксиому и готовьтесь к речи с пером в руке...

Остерегайтесь импровизации.

Отдавшись вдохновению, вы можете упустить существенное и даже важнейшее.

Можете выставить неверное положение и дать козырь противнику. У вас не будет надлежащей уверенности в себе.

Лучше не будет в вашей речи. Импровизаторы, говорит Квинтилиан, хотя казаться умными перед дураками, но вместо того оказываются дураками перед умными людьми.

Люди, знающие и требовательные и в древности и теперь утверждают, что речь судебного оратора должна быть написана от начала до конца. Спасович, Пассовер, Андреевский — это внушительные голоса, не говоря уже о Цицероне.

Но если это не всегда бывает возможно, то во всяком случае, речь должна быть написана в виде подробного логического рассуждения; каждая отдельная часть этого рассуждения должна быть изложена в виде самостоятельного логического целого, и эти части соединены между собой в общее неуязвимое

целое. Вы должны достигнуть этой неуязвимости, иначе вы не исполните своего долга.

Говорят, дело может совершенно измениться на суде, и написанная речь окажется непригодной от начала до конца; тот, кто все заучил в известном порядке, не сумеет справиться с изменившимися обстоятельствами; чем сильнее казались доводы и ярче образы, тем труднее будет освободиться от них; навязчивая память отвлекает внимание, и работа мозга над новыми фактами становится невозможной. Наоборот, тот, кто не связан, не скован в тисках заранее написанной речи, а привык говорить под непосредственным впечатлением судебного следствия, тот может только выиграть от неожиданностей; каждая из них будет новой искрой в свободной игре ума и воображения.

Не могу не признать, что мне приходилось слышать такие рассуждения от людей, имеющих не менее веский голос в нашем искусстве, чем Спасович или Андреевский; думаю только, что это говорится *cum grano salis* (лат. — букв. «с крупинкой соли», с иронией). Обстоятельства дела, конечно, могут измениться на судебном следствии, но исключительные случаи не должны служить основанием общих правил...

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

О внимании слушателей

Мы уже знаем, что в деловой речи не бывает лишнего. Следовательно необходимо, чтобы все сказанное обвинителем или защитником было воспринято слушателям; другими словами, необходимо непрерывное их внимание. Во время судебного следствия оно поддерживается постоянной сменой впечатлений; но во время прений, хотя бывают приняты все меры к тому, чтобы ничто не развлекало присяжных, ничто и никто, кроме самого оратора, уже не может способствовать их вниманию. Поэтому оратор должен уметь возбуждать и поддерживать его искусственными приемами. Это одно из важнейших условий успеха, и по своей очевидности оно не требует особых пояснений. Я ограничусь немногими краткими указаниями.

Первый прием — это прямое требование внимания от слушателей.

Второй прием, столь же простой и естественный, это, конечно, пауза...

Третий прием заключается в употреблении — и надо сказать, что это единственный случай, когда вообще может быть допустимо употребление — вставных предложений.

Четвертый прием — это риторическая фигура *apostrophe* — обращение к слушателю с неожиданным вопросом.

Пятый прием есть очень завлекательный, но вместе с тем и... Впрочем, в настоящую минуту мне кажется удобнее обратиться к шестому приему, не менее полезному и, пожалуй, сходному с ним в своем основании; шестой прием основан на одной из наиболее распространенных и чувствительных слабостей человека; нет сомнения, что задумавшись хотя бы на секунду, всякий мало-мальски сообразительный человек сам укажет его; я даже не знаю, стоит ли прямо называть эту уловку, когда читатель уже издали заметил, что сочини-

тель просто старается затянуть изложение и подразнить его любопытство, чтобы обеспечить себе его внимание.

Возвращаясь теперь к пятому приему, мы можем сказать, что внимание слушателей получает толчок, когда оратор неожиданно для них прерывает начатую мысль, – и новый толчок тогда, когда, поговорив о другом, возвращается к недоговоренному ранее.

Седьмой прием, как видели читатели, заключается в том, чтобы заранее намекнуть на то, о чем предстоит говорить впоследствии...

А.Ф. КОНИ СОВЕТЫ ЛЕКТОРАМ

1. Необходимо готовиться к лекции; собрать интересное и важное, относящееся к теме прямо или косвенно, составить сжатый, по возможности полный план и пройти по нему несколько раз.

Еще лучше — написать речь и, тщательно отделав ее в стилистическом отношении, прочитать вслух.

Письменное изложение предстоящей речи очень полезно начинающим лекторам и не обладающим резко выраженной способностью к свободной и спокойной речи.

План должен быть подвижным, то есть таким, чтобы его можно было сокращать без нарушения целого.

2. Следует одеться просто и прилично. В костюме не должно быть ничего вычурного и кричащего (резкий цвет, необыкновенный фасон); грязный, неряшливый костюм производит неприятное впечатление. Это важно помнить, так как психическое действие на собравшихся начинается до речи, с момента появления лектора перед публикой.

3. Перед каждым выступлением следует мысленно пробежать план речи, так сказать, всякий раз приводить в порядок имеющийся материал. Когда лектор сознает, что хорошо помнит все то, о чем предстоит сказать, то это придает ему бодрость, внушает уверенность и успокаивает.

4. Лектору, в особенности начинающему, очень мешает боязнь слушателей, страх от сознания, что речь окажется неудачной, то тягостное состояние души, которое хорошо знакомо каждому выступающему публично: адвокату, певцу, музыканту и т.д. Все это с практикой исчезает в значительной мере, хотя некоторое волнение, конечно, бывает всегда.

Чтобы меньше волноваться перед выступлением, надо быть более уверенным в себе, а это может быть только при лучшей подготовке к лекции. Чем лучше владеешь предметом, тем меньше волнуешься. Размер волнения обратно пропорционален затраченному на подготовку труду или. Вернее, результату подготовки. Не видимый ни для кого предварительный труд — основа уверенности лектора. Эта уверенность тотчас же повысится во время самой речи, как только лектор почувствует (а почувствует он непременно и вскоре же), что говорит свободно, толково, производит впечатление и знает все, что еще осталось сказать.

Когда спросили Ньютона, как он открыл закон тяготения, великий математик ответил: «Я об этом много думал». Другой великий человек — Томас Альва Эдисон сказал, что в его изобретениях было 98 процентов «потения» и 2 процента «вдохновения».

Многим известно, во что обходился «перл создания» нашему Гоголю — до восьми переделок начальных редакций! Итак, страх лектора уменьшается подготовкой и практикой, т.е. тем же трудом.

В уменьшение страха перед слушателями играют большую роль и те счастливые минуты успеха, которые нет-нет да и выпадают на долю не совсем плохого или только порядочного лектора.

5. Начинать речь с обращения: «Товарищи». Можно построить начальную фразу и так, чтобы эти слова были в середине: «Сегодня, товарищи, вам предстоит...».

6. Говорить следует громко, ясно, отчетливо (дикция), немонотонно, по возможности выразительно и просто. В тоне должна быть уверенность, убежденность, сила. Не должно быть учительского тона, противного и ненужного взрослым, скучного — молодежи.

7. Тон речи может повышаться (то, что в музыке *crescendo*), но следует вообще менять тон — повышать и понижать его в связи со смыслом и значением данной фразы — и даже отдельные слова (логическое ударение). Тон подчеркивает. Иногда хорошо «упасть» в тоне: с высокого вдруг перейти на низкий, сделав паузу. Это «иногда» определяется местом в речи. Говоришь о Толстом — и первая фраза об его «уходе» может быть сказана низким тоном; этим сразу подчеркивается величие момента в жизни нашего великого писателя. Точных указаний делать по этому вопросу нельзя: может подсказать чутье лектора, вдумчивость. Следует помнить о значении пауз между отдельными частями устной речи (то же, что абзац или красная строка в письменной). Речь не должна произноситься одним махом; она должна быть речью, живым словом.

8. Жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться осторожно. Выразительный жест (поднятая рука, сжатый кулак, резкое и быстрое движение и т.п.) должны соответствовать смыслу и значению данной фразы или отдельного слова (здесь жест действует заодно с тоном, удваивая силу речи). Слишком частые, однообразные, суетливые, резкие движения рук неприятны, приедаются, надоедают и раздражают.

9. Не расхаживать по сцене, не делать однообразных движений, например, покачиваний с ноги на ногу, приседать и т.п.

10. Полезно всматриваться в отдельные группы слушателей (особенно в маленьких аудиториях, комнатах): слушатели смотрят на лектора, и им приятно, если лектор посмотрит на них. Этим привлекается внимание и завоевывается расположение к лектору. У лектора не должно быть одной какой-то точки, к которой привлекается во все время речи его взор.

11. Лектор должен быть в достаточной мере освещен: лицо говорит вместе с языком.

12. От лектора требуется большая выдержка и умение владеть собой при всех неблагоприятных обстоятельствах. Никакие отвлекающие причины не должны на него действовать (бинокли, газеты, поворачивания, шорох, плач ребенка, лай случайно забравшейся собаки). Лектор должен делать свое дело. Указанные мелочи (их можно насчитать с десятков), между которыми есть и действующие на самолюбие, с практикой психически не будут оказывать влияния, к ним лектор привыкает.

13. В случае резкого шума призвать к тишине и продолжать речь. Если перед началом речи можно предположить, что будет шумно, если видно, что публика нервна, саму речь начать с призыва к тишине, а этот призыв полезно включить одну — две фразы завлекающего характера.

14. Избегать шаблона речи, он особенно опасен вначале и в конце. Публика подмечает все, и шаблон может быть поводом к какой-нибудь неожиданной выходке, например, шаблонно начатую лектором фразу закончит кто-нибудь в рядах и опередит лектора. Шаблон — совершенно недопустимое зло во всяком творчестве.

Не применять в речи одних и тех же выражений, даже одних и тех же слов на близком расстоянии. Флобер и Мопассан советовали не ставить в тексте одинаковых слов ближе, чем на 200 строк.

Форма речи — простая, понятная. Иностранный элемент допустим, но его следует тотчас же объяснить, в объяснение должно быть кратким, нечekanенным; оно не должно задерживать надолго движение речи. Лучше не допускать трудно понимаемых иронии, аллегорий и т.п.; все это не усваивается неразвитыми умами, пропадает зря, хорошо действует простое наглядное сравнение, параллель, выразительный эпитет.

Лирика допустима, но ее должно быть мало (тем она ценнее). Лирика должна быть искреннее, как и вся речь вообще. Все же или почти все должно быть в форме и содержании речи, вот почему предварительная подготовка и выработка плана так важны и необходимы.

Элемент трогательного, жалостливого может быть в речи, но чтобы трогательное действительно трогало сердце, надо о трогательном говорить спокойно, холодно, бесстрастно: ни голос не должен дрожать, ни слеза слышаться, не должно быть никакого внешнего притока трогательности, от этого получается контрастный фон: черные линии сливаются с черным фоном, а на белом выступают резко, так и с трогательным. Например, читать сцены казни Остапа надо протокольно, сухо, холодно, стальным, крепким голосом и изменить его там, где нельзя уже не изменить — описание страданий казаков и Остапа и возглас его: «Батько! Слышишь ли ты все это?»

Чтобы лекция имела успех, надо: 1) завоевать внимание слушателей и 2) удержать внимание до конца речи.

Привлечь (завоевать) внимание слушателей — первый ответственный момент в речи лектора, самое трудное дело. Внимание всех вообще (ребенка, невежды, интеллигента и даже ученого) возбуждается простым, интересным (интересующим) и близким к тому, что, наверное, переживал или испытывал каждый. Значит, первые слова лектора должны быть чрезвычайно просты, доступны, понятны и интересны (должны отвлечь, зацепить внимание). Этих зацепляющих «крючков» - вступлений может быть очень много: что-нибудь из жизни, что-нибудь неожиданное, какой-нибудь парадокс, какая-нибудь странность, как будто не идущая ни к жесту, ни к делу (но на самом-то деле связанная со всей речью), неожиданный и неглупый вопрос и т.д. Большинство людей занято пустой болтовней или легкими мыслями. Своротить их внимание в свою сторону всегда можно.

Чтобы открыть (найти) такое начало, надо думать, взвесить всю речь и сообразить, какое из указанных выше начал и однородных с ними, здесь не помеченных, может подходить и быть в тесной связи хоть какой-нибудь стороной с речью. Эта работа целиком творческая.

Пример первый

Надо говорить о Калигуле, римском императоре. Если лектор начнет с того, что Калигула был сыном Германика и Агрипины, что родился в таком-то году, унаследовал такие-то черты характера, так-то и там-то жил и воспитывался, то... внимание вряд ли будет зацеплено. Почему? Потому что в этих сведениях нет ничего необычного и, пожалуй, интересного для того, чтобы завоевать внимание. Давать этот материал все равно придется, но не сразу надо давать его, а только иногда, когда привлечено уже внимание присутствующих, когда оно из рассеянного станет сосредоточенным. Стоять можно на подготовленной почве, а на первый попавшейся, случайной. Это закон. Первые слова и имеют эту цель: привести собравшихся в состояние внимания. Первые слова должны быть совершенно простым (полезно избегать в этом месте сложных предложений, хороши простые предложения). Можно начать так: «В детстве я любил читать сказки. И из всех сказок на меня особенно сильно влияла одна (пауза) — сказка о людоеде, пожирателе детей. Мне, маленькому, было крайне жалко тех ребят, которых великан-людоед резал, как поросят, огромным ножом и бросал в большой дымящийся котел. Я боялся этого людоеда и, когда темнело в комнате, думал, как бы не попасться к нему на обед. Когда же я вырос и кое-что узнал, то...» — далее следуют переходные слова (очень важные) к Калигуле и затем речь по существу. Скажут: причем тут людоед? А при том, что людоед в сказке и Калигула в жизни — братья по жестокости.

Разумеется, если лектор не выдвинет в речи о Калигуле его жестокости, то не нужен и людоед. Тогда надо будет взять другое для завоевания внимания. Оригинальность начала интригует, привлекает, располагает ко всему остальным; напротив того, обыкновенное начало принимается вяло, на него нехотя (значит, неполно) реагируют, оно заранее определяет ценность всего последующего.

Пример второй

Надо говорить о Ломоносове. Во вступлении можно нарисовать (кратко, непременно кратко, но сильно!) картину бегства в Москву мальчика-ребенка, а потом: прошло много лет. В Петербурге, в одном из старинных домов времени Петра Великого, в кабинете, уставленном физическими приборами и заваленном книгами, чертежами и рукописями, стоял у окна человек в белом парике и придворном мундире и объяснял Екатерине II новые опыты по электричеству. Человек этот был тот самый мальчик, который когда-то бежал из родного дома темной ночью.

Здесь действует на внимание простое начало, как будто не относящееся к Ломоносову, и резкий контраст двух картин.

Внимание непременно будет завоевано, а дальше можно вести речь о Ломоносове по существу: поэт, физик, химик...

Пример третий

Надо говорить о законе всемирного тяготения. Принимая во внимание все предшествовавшее о вступлении, о первых словах лектора для завоевания внимания, и эту лекцию можно было бы начать так: «В рождественскую ночь 1642 года в Англии в семье фермера средней руки была большая сумятица. Родился мальчик такой маленький, что его можно было выкупать в пивной кружке». Дальше несколько слов о жизни и учении этого мальчика, о студенческих годах, об избрании в члены королевского общества и, наконец, имя самого Ньютона. После этого можно приступить к изложению сущности закона всемирного тяготения. Роль этой «пивной кружки» — только в привлечении внимания. А откуда о ней узнать? Надо читать, готовиться, взять биографию Ньютона... Как привлечь внимание и через это подействовать на волю, превосходно пояснено в рассказе А.П. Чехова «Дома» (прием тот же, что и здесь).

Начало должно быть в соответствии с аудиторией, знание ее необходимо. Например, начало лекции о Ломоносове не подошло бы к аудитории интеллигентной, так как с первых же слов все догадались бы, что речь идет именно о Ломоносове, и оригинальность начала превратилась бы в жалкую искусственность.

Вторая задача лектора — удержать внимание аудитории. Раз внимание возбуждено вступлением, надо хранить его, иначе перестанут слушать, начнет движение и, наконец, появится так «смесь» тягостных признаков равнодушия к словам лектора, которая убивает всякое желание продолжать речь. Удержать и увеличить внимание можно:

- краткостью;
- быстрым движением речи;
- краткими освежающими отступлениями.

Краткость речи состоит не только в краткости времени, в течение которого она произносится. Лекция может идти целый час и все-таки быть краткой, она же при 10 минутах может казаться длинной, утомительной.

Краткость — отсутствие всего лишнего, не относящегося к содержанию, всего того водянистого и засоряющего, чем обычно грешат речи. Надо избегать лишнего: оно расхолаживает и ведет к потере внимания слушателей. Чтобы из мрамора сделать лицо, надо удалить из него все то, что не есть лицо (мнение А.П. Чехова). Так и лектор ни под каким видом не должен допускать в своей речи ничего из того, что разжижает речь, что делает ее «предлинновенной», что нарушает второе требование — быстрое движение речи вперед. Речь должна быть экономной, упругой. Нельзя рассуждать так: ничего, я оставлю это слово, это предложение, этот образ, хотя они и не особенно-то важны.

Все неважное — выбрасывать, тогда и получится краткость, о которой тот же Чехов сказал: «Краткость — сестра таланта». Нужно делать так, чтобы слов было относительно немного, а мыслей, чувств, эмоций — много. Тогда речь краткая, тогда она уподобляется вкусному вину, которого достаточно рюмки, чтобы почувствовать себя приятно опьяненным, тогда она исполнит завет Майкова: словам тесно, а мыслям просторно.

Быстрое движение речи обязывает лектора не задерживать внимания в подходах к новым частям (новым вопросам — моментам) речи. Например, часто удается слышать: «Что же касается до юмора Чехова, юмора крайне своеобразного, то о нем можно сказать следующее...» Вместо этих нестоящих слов надо сказать: «Юмор Чехова отличается удивительной мягкостью и гуманностью». Потом — закрепление примерами. Краткие освежающие отступления нужны в большой (скажем, часовой) речи, когда есть полное основание предполагать, что внимание слушателей могло утомиться. Утомленное внимание — невнимание. Отступления должны быть легкими, даже комического характера, и в то же время стоять в связи с содержанием данного места речи. В маленькой речи можно обойтись и без отступлений: внимание может сохраниться хорошими качествами самой речи.

Конец речи должен закруглить ее, то есть связать с началом. Например, в конце речи о Ломоносове (см. выше) можно сказать: «Итак, мы видели Ломоносова мальчиком-рыбаком и академиком. Где причина такой чудесно судьбы? Причина — только в жажде знаний, в богатырском труде и умноженном таланте, отпущенном ему природой. Все это вознесло бедного сына рыбака и прославило его имя».

Разумеется, такой конец не для всех речей обязателен. Конец — разрешение всей речи (как в музыке последний аккорд — разрешение предыдущего; кто имеет музыкальное чутье, тот всегда может сказать, не зная пьесы, судя только по аккорду, что пьеса кончилась); конец должен быть таким, чтобы слушатели почувствовали (не только в тоне лектора, это обязательно), что дальше говорить нечего.

Для успеха речи важно течение мысли лектора. Если мысль скачет с предмета на предмет, перебрасывается, если главное постоянно прерывается, то такую речь почти невозможно слушать. Надо построить план так, чтобы вторая мысль вытекала из первой, третья из второй и т.д., или чтобы был естественный переход от одного к другому.

Пример: черты характера Калигулы — жестокость, разврат, самомнение, расточительность. Если в рассказ о жестокости поместить черту расточительности (мысль перескочила!), а в рассказ о разврате — черту самомнения (мысль опять перескочила!), то получится отсутствие логического течения мысли. Это совершенно недопустимо. Средство против такого недостатка — обдуманый план и его точное исполнение. Естественное течение мысли доставляет, кроме умственного, глубокое эстетическое наслаждение. Об этом говорил и Пушкин.

Течение мысли подобно синему столбику термометра, а отступления — черточкам, указывающим целое число градусов, но только не в такой равномерной последовательности.

21. Лучшие речи просты, ясны, понятны и полны глубокого смысла. При недостатке собственной «глубокой мысли» дозволительно пользоваться мудростью мудрых, соблюдая меру и в этом, чтобы не потерять своего лица между Лермонтовыми, Толстыми, Диккенсами...

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

ИСТОЧНИКИ

- Андреевский С.* Судебные речи. Вст. ст. Г.М. Резника. – М.: Юрайт, 2010.
- Андреевский С.А.* Избранные труды и речи. – Тула, 2000.
- Арсеньев К.К.* Заметки о русской адвокатуре. – Тула, 2001.
- Карабчевский Н.П.* Судебные речи. – М.: Юрайт, 2010.
- Кони А.Ф.* Собрание сочинений в 8 т. – М., 1967.
- Кони А.Ф.* Советы лекторам // Об ораторском искусстве. – М., 1958.
- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1992 года. – М., 1997.
- Плевако Ф.Н.* Избранные речи. – М., 1911.
- Речи советских адвокатов по гражданским делам. – М., 1976.
- Речи советских адвокатов / Сост. И.Ю. Сухарев. – М., 1968.
- Спасович В.Д.* Избранные труды и речи. – Тула, 2000.
- Спасович В.Д.* Судебные речи. – М.: Юрайт, 2010.
- Сергеич П.* Искусство речи на суде. – М.: Юрайт, 2010.
- Судебные речи известных русских юристов: сборник (Вст. ст. Г.М. Резника). – М.: Юрайт, 2011.
- Судебные речи советских обвинителей. М., 1965.
- Урусов А.И.* Первосоздатель русской судебной защиты. – Тула, 2001.

ЛИТЕРАТУРА

- Адамов Е.* О культуре речи юриста // Советская юстиция. 1966. № 1.
- Адвокатура в России : учебник для вузов / Под ред. д. ю. н., проф. Сергеева В.И. – М., 2011.
- Алексеев Н.С., Макарова З.В.* Ораторское искусство в суде. – Л., 1989.
- Античные риторика. – М.: Изд-во МГУ, 1978.
- Антоненко Т.А.* Словесность в юриспруденции: курс лекций. – Ростов н /Дону, 1999.
- Апресян Г.З.* Ораторское искусство. – М., 1978.
- Ария С. Л.* Мозаика: Записки адвоката; Речи – М., 2000.
- Барщевский М.Ю.* Адвокатская этика. – 2-е изд. испр. – М., 2000.
- Басков В.И.* Общественные обвинители и защитники. М., 1979.
- Бойков А.Д.* Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М., 1978.
- Бохан В.М.* Формирование убеждения в суде. – Минск, 1975.
- Букреев В.И., Римская И.Н.* Этика права. – М., 1998.
- Введенская Л.А., Павлова Л.Г.* Деловая риторика: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – Ростов н /Дону, 2001.
- Введенская Л.А., Павлова Л.Г.* Риторика для юристов: учебное пособие. – Ростов н /Дону: Феникс, 2002. – 576 с.
- Венгеров С.А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Вып. 1-21. Т. 1. – СПб., 1989.

- Виноградов В.В.* О языке художественной прозы. М., 1980.
- Владимиров Л.Е.* Защитительные речи и публичные лекции. М., 1982
- Владимиров Л.Е.* Русский судебный оратор. А.Ф. Кони. – Харьков, 1989.
- Волькенштейн Ф.Я., Бобрищев-Пушкин А.В.* Прения сторон в уголовном процессе. – СПб., 1903.
- Ворожейкин Е.М.* Суд присяжных и судебное красноречие Франции XIX века. – М., 1959.
- Воронов Ю.С.* Ораторское искусство В.И. Ленина и судебное красноречие. – Саратов, 1981.
- Воронов Ю.С.* Титан мысли и чародей слова (К 150-летию со дня рождения А.Ф. Кони) // Земля Саратовская. – 02.02.1994.
- Воронов Ю.С.* Корифей судебного психоанализа // Вопросы практической психологии. Вып. VI. – Саратов, 1996.
- Воронов Ю.С., Рыбак М.С.* Этюды о русском красноречии XIX в. – Саратов, 2003.
- Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.* Российское академическое красноречие. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009.
- Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.* Российское военно-политическое красноречие. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009.
- Воронов Ю.С., Новичкова В.И.* Риторика и политика. XX век в лицах. – Саратов, 2001.
- Воронов Ю.С., Русакова Н.А.* Живое дыхание античности: политическое красноречие Демосфена и Цицерона. – Саратов, 2011.
- Гольдинер В.Д.* Защитительная речь. М., 1970.
- Граудина Л.К., Миськевич Г.И.* Теория и практика русского красноречия. – М., 1989.
- Граудина Л.К., Кочеткова Г.М.* Русская риторика. – М., 2001
- Губаева Т.В.* Словесность в юриспруденции. – Казань, 1995.
- Губаева Т.В.* Язык и право. – М.: Норма, 2003.
- Долецкий Ч.* Риторика. – М.: Омега-Л», 2004.
- Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 11-15. – Л., 1976.
- Загорский Г.И.* Судебная речь. М., 1981.
- Еникеев М.И.* Юридическая психология: учебник для вузов. – М., 2000.
- Зарецкая Е.Н.* Теория и практика речевой коммуникации. – М., 1998.
- Защитительные речи советских адвокатов.* – М., 1957.
- Защитительные судебные речи.* – Свердловск, 1959.
- Ивакина Н.Н.* Культура судебной речи. – М., 1995.
- Иванова С.Ф.* Специфика судебной речи. – М., 1978.
- Ивакина Н.Н.* Профессиональная речь юриста: учебное пособие. – М.: Норма, 2010.
- Ивакина Н.Н.* Основы судебного красноречия. (Риторика для юристов): учебное пособие. – М., 2000.
- Киселев Я.С.* Этика адвоката. – Л., 1974.
- Киселев Я.С.* Судебные речи. – Л., 1967.
- Костанов Ю.А.* Судебное красноречие. – М., 1992.

- Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме. – М.: Наука, 1976.
- Левакова Э.Н. Общественное обвинение и защита. – М., 1970.
- Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. – М., 1977.
- Ляхов Ю.А., Филимонов Г.А. Суд присяжных: Российская действительность и традиции. – М., 1998.
- Макарова З.В. Судебная речь: учебное пособие. – Куйбышев, 1985.
- Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972.
- Матвеев Е.А. Судебная речь. – Минск, 1972.
- Михайловская Н.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора. – М., 1981.
- Нечкина М.В. Встреча двух поколений. Сб. статей. – М., 1980.
- Ножин Е.А. Основы советского ораторского искусства. М., 1975.
- Ораторы Древней Греции. – М.: Художественная литература, 1985.
- Орлов Ю.К. Основы теории доказательства в уголовном процессе: научно-практическое пособие. – М., 2000.
- Осипов К.А. Вопросы защитительной речи. – Свердловск, 1908.
- Резниченко И.М. Основы судебной речи. – Владивосток, 1975.
- Российская юридическая энциклопедия. – М., 1999.
- Россельс В.Л. Судебные защитительные речи. – М., 1966.
- Руденко Р.А. Судебные речи и выступления. – М., 1987.
- Рязанова Д.А. Адвокат С.А. Андреевский на политических процессах (конец XIX — начало XX в). – Саратов, 2002.
- Скрипильев В.Д., Спасович В.Д. – король русской адвокатуры. – М., 1999.
- Смолярчук В.И. Федор Плевако. – Челябинск, 1989.
- Смолярчук В.И. Анатолий Федорович Кони. – М., 1981.
- Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова. Русские судебные ораторы второй половины XIX-начала XX в. – М., 1984.
- Советская адвокатура, задачи и деятельность. – М., 1965.
- Слово адвокату (под ред. К.Н. Апраксина). – М., 1981.
- Судебные ораторы Франции XIX века. – М., 1959.
- Судебные речи знаменитых русских адвокатов. – М., 1997.
- Судебное красноречие русских юристов прошлого / Сост. Ю.А. Костанов. – М., 1992.
- Троицкий Н.А. Безумство храбрых. – М., 1978.
- Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг. – Тула: Автограф, 2000.
- Троицкий Н.А. Судьбы российских адвокатов. – Саратов, 2003.
- Троицкий Н.А. Корифеи российской адвокатуры. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2006.
- Трунов И.Л., Мельник В.В. Искусство речи в суде присяжных: учебно-практическое пособие. – М.: Высшее образование, 2009.